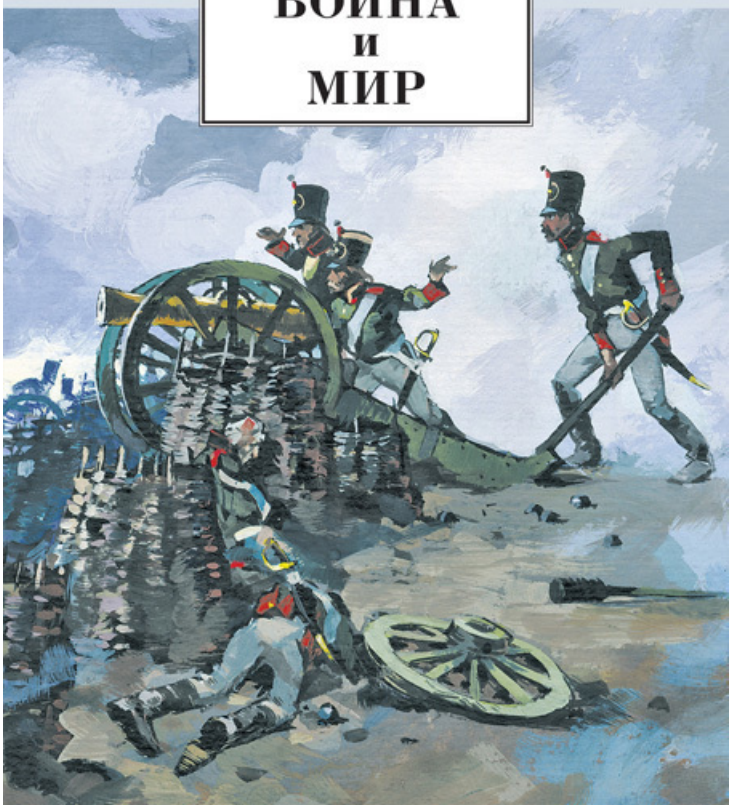
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Л. Н. Толстой

ВОЙНА и МИР



Лев Николаевич Толстой
Война и мир. Том 1
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25452548
Война и мир. Том 1: Дет. лит; Москва; 2010
ISBN 978-5-08-004654-4, 978-5-08-004667-4

Аннотация

В книгу входит первый том романа-эпопеи «Война и мир». Для старшего школьного возраста.

Содержание

Война и мир Льва Толстого 5
Часть первая 90
I 90
II 100
III 106
IV 115
V 129
VI 136
VII 154
VIII 161
IX 165
X 171
XI 175
Конец ознакомительного фрагмента. 179

Лев Толстой
Война и мир. Том 1

© Гулин А. В., вступительная статья, 2003
© Николаев А. В., иллюстрации, 2003
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2003

Война и мир Льва Толстого

С 1863 по 1869 год неподалеку от старинной Тулы в тишине русской провинции создавалось, может быть, самое необычное произведение за всю историю отечественной словесности. Уже известный к тому времени писатель, процветающий помещик, владелец имения Ясная Поляна граф Лев Николаевич Толстой работал над огромной художественной книгой о событиях полувековой давности, о войне 1812 года.

Отечественная литература знала и прежде повести и романы, вдохновленные народной победой над Наполеоном. Их авторами нередко выступали участники, очевидцы тех событий. Но Толстой – человек послевоенного поколения, внук генерала екатерининской эпохи и сын русского офицера начала века – как полагал он сам, писал не повесть, не роман, не историческую хронику. Он стремился охватить взглядом словно бы всю минувшую эпоху, показать ее в переживаниях сотен действующих лиц: вымышленных и реально существовавших. Более того, приступая к этой работе, он вовсе не думал ограничивать себя каким-то одним временным отрезком и признавался, что намерен провести многих и многих своих героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 года. «Развязки отношений этих лиц, – говорил он, – я не предвижу ни в одной из этих эпох». Рассказ о прошлом, по его мысли, должен был завер-

шиться в настоящем.

В то время Толстой не раз, в том числе и самому себе, пытался объяснить внутреннюю природу своей год от года возрастающей книги. Набрасывал варианты предисловия к ней и наконец в 1868 году напечатал статью, где ответил, как ему казалось, на те вопросы, которые могло вызвать у читателей его почти невероятное произведение. И все же духовная сердцевина этого титанического труда оставалась до конца не названной. «Тем и важно хорошее произведение искусства, – заметил писатель много лет спустя, – что основное его содержание во всей его полноте может быть выражено только им». Кажется, лишь однажды ему удалось приоткрыть самую суть своего замысла. «Цель художника, – сказал Толстой в 1865 году, – не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, к[отор]ым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы».

Исключительная полнота, радостная сила мироощущения была свойственна Толстому на протяжении всех шести лет, когда создавалось новое произведение. Он любил своих ге-

роев, этих «и молодых и старых людей, и мужчин и женщин того времени», любил в их семейном обиходе и событиях вселенского размаха, в домашней тишине и громе сражений, праздности и трудах, падениях и взлетах… Он любил историческую эпоху, которой посвятил свою книгу, любил страну, доставшуюся ему от предков, любил русский народ. Во всем этом он не уставал видеть земную, как полагал он – божественную, реальность с ее вечным движением, с ее умиротворением и страстями. Один из главных героев произведения – Андрей Болконский в миг своего смертельного ранения на Бородинском поле испытал чувство последней жгучей привязанности ко всему, что окружает человека на свете: «Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух…» Мысли эти не были просто эмоциональным порывом человека, увидевшего смерть лицом к лицу. Они во многом принадлежали не только герою Толстого, но и его создателю. Вот так же и сам он бесконечно дорожил в ту пору каждым мгновением земного бытия. Его грандиозное творение 1860-х годов от начала до конца пронизывала своеобразная вера в жизнь. Само это понятие – жизнь – стало для него поистине религиозным, получило особенный смысл.

Духовный мир будущего писателя сложился в последекабристскую эпоху в той среде, что дала России подавляющее число выдающихся деятелей во всех областях ее жизни. В то же время здесь горячо увлекались философскими учениями

Запада, усваивали под разным видом новые, весьма шаткие идеалы. Оставаясь по видимости православными, представители избранного сословия часто были уже очень далеки от исконно русского христианства. Крещенный в детстве и воспитанный в православной вере, Толстой долгие годы уважительно относился к отеческим святыням. Но его личные взгляды сильно отличались от тех, что исповедовала Святая Русь и простые люди его эпохи.

Еще смолоду он уверовал всей душой в некое безличное, туманное божество, добро без границ, которое проникает собой вселенную. Человек по природе своей казался ему безгрешным и прекрасным, сотворенным для радости и счастья на земле. Не последнюю роль тут сыграли сочинения любимого им французского романиста и мыслителя XVIII века Жан Жака Руссо, хотя и воспринятые Толстым на русской почве и вполне по-русски. Внутренняя неустроенность отдельной личности, войны, разногласия в обществе, больше – страдание как таковое выглядели с этой точки зрения роковой ошибкой, порождением главного врага первобытного блаженства – цивилизации.

Но это, по его мысли, утраченное совершенство Толстой не считал раз навсегда потерянным. Ему казалось, оно продолжает присутствовать в мире, причем находится совсем близко, рядом. Он, вероятно, не сумел бы в то время ясно назвать своего бога, затруднялся он в этом и много позднее, уже определенно считая себя основателем новой рели-

гии. Между тем настоящими его кумирами стали уже тогда дикая природа и сопричастная природному началу эмоциональная сфера в душе человека. Ощутимое сердечное содрогание, собственное наслаждение или отвращение представлялись ему безошибочной мерой добра и зла. Они, полагал писатель, были отголосками единого для всех живущих земного божества – источника любви и счастья. Он боготворил непосредственное чувство, переживание, рефлекс – высшие физиологические проявления жизни. В них-то и заключалась, по его убеждению, единственно подлинная жизнь. Все прочее относилось к цивилизации – иному, безжизненному полюсу бытия. И он мечтал, что рано или поздно человечество забудет свое цивилизованное прошлое, обретет безграничную гармонию. Возможно, тогда появится совсем другая «цивилизация чувства».

Эпоха, когда создавалась новая книга, была тревожной. Часто говорят, что в 60-е годы XIX века Россия стояла перед выбором исторического пути. В действительности такой выбор страна совершила почти тысячелетием раньше, с принятием Православия. Теперь же решался вопрос, устоит ли она в этом выборе, сохранится ли как таковая. Отмена крепостного права, другие правительственные реформы отозвались в русском обществе настоящими духовными битвами. Дух сомнения и разлада посетил некогда единый народ. Европейский принцип «сколько людей, столько истин», проникая повсюду, порождал бесконечные споры. Появились во

множестве «новые люди», готовые по собственной прихоти до основания перестроить жизнь страны. Книга Толстого заключала в себе своеобразный ответ таким наполеоновским планам.

Русский мир времен Отечественной войны с Наполеоном представлял собой, по убеждению писателя, полную противоположность отравленной духом разлада современности. Этот ясный, устойчивый мир таил в себе необходимые для новой России, во многом забытые прочные духовные ориентиры. Но сам Толстой склонен был видеть в национальном торжестве 1812 года победу именно дорогих ему религиозных ценностей «живой жизни». Писателю казалось, что его собственный идеал – это и есть идеал русского народа.

События прошлого он стремился охватить с невиданной прежде широтой. Как правило, следил он и за тем, чтобы все им сказанное строго до мелочей отвечало фактам действительной истории. В смысле документальной, фактической достоверности его книга заметно раздвигала прежде известные границы литературного творчества. Она вбирала в себя сотни невыдуманных ситуаций, реальные высказывания исторических лиц и подробности их поведения, в художественном тексте были помещены многие из подлинных документов эпохи. Толстой хорошо знал сочинения историков, читал записки, мемуары, дневники людей начала XIX века.

Семейные предания, впечатления детства тоже значили для него очень много. Однажды он сказал, что пишет «о том

времени, которого еще запах и звук слышны и милы нам». Писатель помнил, как в ответ на его детские расспросы о собственном дедушке, старая экономка Прасковья Исаевна доставала иногда «из шкапа» благовонное курение – смолку; вероятно, это был ладан. «По ее словам выходило, – рассказывал он, – что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом». На страницах книги о прошлом отставной генерал, участник войны с Турцией в 1787-1791 годах старый князь Болконский многими чертами походил на этого родственника Толстого – его деда, Н. С. Волконского. Точно так же старый граф Ростов напоминал другого дедушку писателя, Илью Андреевича. Княжна Марья Болконская и Николай Ростов своими характерами, некоторыми обстоятельствами жизни приводили на память его родителей – урожденную княжну М. Н. Волконскую и Н. И. Толстого.

Другие действующие лица, будь то скромный артиллерист капитан Тушин, дипломат Билибин, отчаянная душа Долохов или родственница Ростовых Соня, маленькая княгиня Лиза Болконская, тоже имели, как правило, не один, а несколько реальных прообразов. Что и говорить о гусаре Ваське Денисове, так похожем (писатель, кажется, и не скрывал этого) на знаменитого поэта и партизана Дениса Давыдова! Мысли и устремления реально существовавших людей, некоторые особенности их поведения и жизненные повороты нетрудно было различить в судьбах Андрея Болконского

и Пьера Безухова. Но все же поставить знак равенства между подлинным лицом и литературным персонажем оказывалось до конца невозможно. Толстой блестяще умел создавать художественные типы, характерные для своего времени, среды, для русской жизни как таковой. И каждый из них в той или иной степени подчинялся скрытому в самой глубине произведения авторскому религиозному идеалу.

За год до начала работы над книгой, тридцати четырех лет от роду, Толстой женился на девушке из благополучного московского семейства, дочери придворного медика Софье Андреевне Берс. Он был счастлив новым своим положением. В 1860-е годы у Толстых родились сыновья Сергей, Илья, Лев, дочь Татьяна. Отношения с женой приносили ему неведомую ранее силу и полноту чувства в самых тонких, изменчивых, порой драматичных его оттенках. «Прежде я думал, – заметил Толстой спустя полгода после свадьбы, – и теперь, женатый, еще больше убеждаюсь, что в жизни, во всех отношениях людских, основа всему работа – драма чувства, а рассуждение, мысль не только не руководит чувством и делом, а подделывается под чувство». В дневнике от 3 марта 1863 года он продолжал развивать эти новые для него мысли: «Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. И только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых. Кто счастлив, тот прав!» Его масштабная работа последующих лет стала всесторонним утверждением этих мыслей.

Еще в молодости Толстой поражал многих, кому довелось его узнать, резко неприязненным отношением к любым отвлеченным понятиям. Идея, не поверенная чувством, неспособная повергать человека в слезы и смех, казалась ему мертворожденной. Суждение, свободное от непосредственного опыта, он называл «фразой». Общие проблемы, поставленные вне житейской, чувственно различимой конкретики, иронически именовал «вопросами». Ему нравилось «ловить на фразе» в дружеском разговоре или на страницах печатных изданий знаменитых своих современников: Тургенева, Некрасова. К самому себе в этом отношении он тоже бывал беспощаден.

Теперь, в 1860-е годы, приступая к новой работе, он тем более следил, чтобы в его рассказе о прошлом не было никаких «цивилизованных отвлеченностей». Толстой потому и отзывался в то время с таким раздражением о сочинениях историков (среди них были, например, труды А. И. Михайловского-Данилевского – адъютанта Кутузова в 1812 году и блестящего военного писателя), что они, по его мнению, искажали своим «ученым» тоном, слишком «общими» оценками подлинную картину бытия. Сам он стремился увидеть давно минувшие дела и дни со стороны по-домашнему ощутимой частной жизни, не важно – генерала или простого мужика, показать людей 1812 года в той единственно дорогой для него среде, где живет и проявляется «святыня чувства». Все прочее выглядело в глазах Толстого надуманным и во-

все не существующим. Он создавал на материале подлинных событий как бы новую реальность, где были свое божество, свои вселенские законы. И полагал, что художественный мир его книги есть самая полная, наконец-то обретенная правда русской истории. «Я верю в то, – говорил писатель, завершая свой титанический труд, – что я открыл новую истину. В этом убеждении подтверждает меня то независимое от меня мучительное и радостное упорство и волнение, с которым я работал в продолжение семи лет, шаг за шагом открывая то, что я считаю истиной».

Название «Война и мир» появилось у Толстого в 1867 году. Оно и было вынесено на обложку шести отдельных книжек, которые вышли в течение двух последующих лет (1868–1869). Первоначально произведение, согласно воле писателя, позднее им пересмотренной, делилось на шесть томов.

Смысл этого заглавия не сразу и не вполне раскрывается перед человеком нашего времени. Новая орфография, введенная революционным декретом 1918 года, многое нарушила в духовной природе русского письма, затруднила ее понимание. До революции в России было два слова «мир», хотя и родственных, но все-таки различных по смыслу. Одно из них – *«Міръ»* – отвечало материальным, предметным понятиям, означало те или иные явления: Вселенная, Галактика, Земля, земной шар, весь свет, общество, община. Другое – *«Миръ»* – охватывало понятия нравственные: отсутствие войны, согласие, лад, дружбу, добро, спокойствие, ти-

шину. Толстой в заглавии употребил именно это второе слово.

Православная традиция издавна видела в понятиях мира и войны отражение вечно непримиримых духовных начал: Бога – источника жизни, созидания, любви, правды, и Его ненавистника, падшего ангела сатаны – источника смерти, разрушения, ненависти, лжи. Впрочем, война во славу Божию, для защиты себя и ближних от богоборческой агрессии, какие бы обличья эта агрессия ни принимала, всегда понималась как война праведная. Слова на обложке толстовского произведения тоже могли быть прочитаны как «согласие и вражда», «единение и разобщение», «лад и разлад», в конечном итоге – «Бог и враг человеческий – диавол». В них по видимости отражалась предрешенная в ее исходе (сатане лишь до поры позволено действовать в мире) великая вселенская борьба. Но у Толстого были все-таки свое божество и своя враждебная ему сила.

Слова, вынесенные в заглавие книги, отражали именно земную веру ее создателя. *«Миръ»* и *«Міръ»* для него, по сути, были одно и то же. Великий поэт земного счастья, Толстой писал о жизни, словно никогда не знавшей грехопадения, – жизни, которая сама, по его убеждению, таила в себе разрешение всех противоречий, дарила человеку вечное несомненное благо. «Чудесны дела Твои, Господи!» – говорили на протяжении веков поколения христиан. И молитвенно повторяли: «Господи, помилуй!» «Да здравствует весь

свет! (Die ganze Welt hoch!)» – вслед за восторженным австрийцем восклицал в романе Николай Ростов. Трудно было выразить точней сокровенную мысль писателя: «Нет в мире виноватых». Человек и земля, верил он, по природе своей совершенны и безгрешны.

Под углом таких понятий получило иное значение и второе слово: «война». Оно начинало звучать как «недоразумение», «ошибка», «абсурд». Книга о наиболее общих путях мироздания, кажется, отразила со всей полнотой духовные законы подлинного бытия. И все же это была проблематика, во многом порожденная собственной верой великого творца. Слова на обложке произведения в самых общих чертах означали: «цивилизация и естественная жизнь». Такая вера могла вдохновить только очень сложное художественное целое. Сложным было его отношение к действительности. Его потаенная философия скрывала в себе большие внутренние противоречия. Но, как нередко бывает в искусстве, эти сложности и парадоксы стали залогом творческих открытий высшей пробы, легли в основу беспримерного реализма во всем, что касалось эмоционально и психологически различимых сторон русской жизни.

* * *

Едва ли в мировой литературе найдется еще произведение, столь широко охватившее все обстоятельства земного

существования человека. При этом Толстой всегда умел не просто показать изменчивые жизненные ситуации, но и вообразить в этих ситуациях до последней степени правдиво «работу» чувства и рассудка у людей всех возрастов, национальностей, рангов и положений, всегда единственных по своему нервному устройству. Не только переживания наяву, но зыбкая область сновидений, грез, полузабытья изображалась в «Войне и мире» с непревзойденным искусством. Этот гигантский «слепок бытия» отличался каким-то исключительным, до сих пор невиданным правдоподобием. О чем бы ни говорил писатель – все представало как живое. И одна из главных причин этой доподлинности, этого дара «ясновидения плоти», как выразился однажды философ и литератор Д. С. Мережковский, состояла в неизменном поэтическом единстве на страницах «Войны и мира» жизни внутренней и внешней.

Душевный мир героев Толстого, как правило, приходил в движение под воздействием внешних впечатлений, даже раздражителей, которые порождали самую напряженную деятельность чувства и следующей за ним мысли. Небо Аустерлица, увиденное раненым Болконским, звуки и краски Бородинского поля, так поразившие Пьера Безухова в начале сражения, дырочка на подбородке французского офицера, взятого в плен Николаем Ростовым, – большие и малые, даже мельчайшие подробности словно опрокидывались в душу того или другого персонажа, становились «действующими»

фактами его сокровенной жизни. В «Войне и мире» почти не было объективных, показанных со стороны, картин природы. Она тоже выглядела «соучастницей» в переживаниях героев книги.

Точно так же внутренняя жизнь любого из персонажей через безошибочно найденные черты отзывалась во внешнем, как бы возвращалась в мир. И тогда читатель (обычно с точки зрения другого героя) следил за переменами в лице Наташи Ростовой, различал оттенки голоса князя Андрея, видел – и это, кажется, самый поразительный пример – глаза княжны Марьи Болконской во время ее прощания с братом, уезжающим на войну, ее встреч с Николаем Ростовым. Так возникала словно подсвеченная изнутри, вечно пронизанная чувством, лишь на чувстве основанная картина Вселенной. Это *единство эмоционального мира, отраженного и воспринятого*, выглядело у Толстого как неиссякающий свет земного божества – источника жизни и нравственности в «Войне и мире».

Писатель верил: способность одного человека «заражаться» чувствами другого, его умение внимать голосу природы есть прямые отголоски всепроникающей любви и добра. Своим искусством он тоже хотел «разбудить» эмоциональную, как полагал, божественную, восприимчивость читателя. Творчество было для него занятием поистине религиозным.

Утверждая «святыню чувства» едва ли не каждым описа-

нием «Войны и мира», Толстой не мог обойти стороной и самую трудную, мучительную тему всей его жизни – тему смерти. Ни в русской, ни в мировой литературе, пожалуй, нет больше художника, который бы так постоянно, настойчиво думал о земном конце всего сущего, так напряженно всматривался в смерть и показывал ее в разных обличьях. Не только опыт рано пережитых утрат родных и близких заставлял его снова и снова пытаться приподнять завесу над самым значительным мгновением в судьбе всех живущих. И не только страстный интерес к живой материи во всех без исключения, в том числе предсмертных, ее проявлениях. Если основа жизни есть чувство, то что же происходит с человеком в тот час, когда вместе с телом умирают и его чувственные способности?

Ужас смерти, который Толстому и до и после «Войны и мира», безусловно, приходилось испытывать с необычайной, все существо потрясающей силой, коренился, очевидно, именно в его земной религии. Это не был свойственный каждому христианину страх за грядущую участь в загробной жизни. Не объяснить его и таким понятным страхом предсмертных страданий, грустью от неизбежного расставания с миром, с дорогими и любимыми, с короткими радостями, отпущенными человеку на земле. Тут неизбежно приходится вспоминать Толстого-миро правителя, создателя «новой реальности», для которого собственная смерть в итоге и должна была означать ни много ни мало крушение целого света.

Религия чувства в ее истоках не знала «воскресения мертвых и жизни будущего века». Ожидание личного бытия за гробом, с точки зрения толстовского пантеизма (этим словом с давних пор принято называть любое обожествление земного, чувственного бытия), должно было казаться неуместным. Так думал он тогда, так думал и на склоне своих дней. Оставалось верить, что чувство, умирая в одном человеке, не исчезает совсем, а сливается со своим абсолютным началом, находит продолжение в чувствах тех, кто остался жить, во всей природе.

Картинам смерти в «Войне и мире» принадлежало большое место. Умирал старый граф Безухов, умирала маленькая княгиня Лиза, дальше по ходу повествования – старший Болконский, умирал от бородинской раны князь Андрей, погибал в бою Петя Ростов, погибал Платон Каратаев. Каждая из этих смертей изображалась в необыкновенном согласии с характером умирающего, со свойственным одному Толстому умением потрясти воображение читателя самыми простыми в их великом, таинственном смысле внешними приметами смерти.

Между тем смерть на страницах великой книги была неизменно сопряжена с картинами вечно живой жизни. Описание событий вокруг умирающего графа Безухова шло параллельно рассказу о праздновании именин Наташи Ростовой и ее матери, трагическая смерть маленькой княгини, жены Андрея Болконского, прямо соседствовала с полными ра-

достного волнения поэтическими сценами в доме Ростовых. Уход одного героя словно замещался жизнью других. Его смерть становилась фактом их дальнейшего бытия. Княжна Марья, потеряв отца, без которого, казалось, должна была оборваться и ее жизнь, испытывая чувство вины, понимала вдруг, что впереди открывается новый, прежде неведомый, тревожный и волнующий мир. Но всего поразительнее это единство жизни и смерти заявляло о себе в описании гибели при родах маленькой княгини Лизы и появлении на свет Николеньки Болконского. Крик смерти и крик новой жизни слились, разделенные лишь одним мгновением. Смерть матери и рождение младенца образовали неразрывную нить «божественного» бытия.

Понятие о счастье, находившееся у истоков «Войны и мира», было бы неверно сводить к житейскому благополучию. Для создателя книги, для всех ее по-настоящему живых персонажей счастье предполагало полноту прикосновения к таинственному началу Вселенной. К нему вела героев непринужденная жизнь чувства. И оно же открывалось как вечное «ядро жизни» умирающему через последнее угасание эмоций. Счастье, каким его переживали толстовские герои, означало «узнавание» в себе – через несчастье, горе, а может быть, радость, упоение жизнью – частицы единого для всех, кто населял пространство огромной книги, дорогого Толстому нравственного начала.

Незримая, потаенная связь соединяла между собой дей-

ствующих лиц произведения, – тех из них, кто сохранил в себе способность к естественному, согласному с природой, участию в жизни. Богатый мир чувства, казалось Толстому, заключал в себе неистребимый, вечно живой «инстинкт любви». В «Войне и мире» он находил многообразное, но почти всегда физически ощутимое проявление. Слезы и смех, сдержанное или прорвавшееся наружу рыдание, улыбка счастья, мгновенное выражение радостно осветившегося лица в тысячах оттенков изображались Толстым. Моменты «переклички душ», показанные в таких ослепительно ярких или едва уловимых «природных импульсах», собственно, и составляли самую сердцевину произведения. Всегда неповторимым, единственным образом в них отражалась не покидавшая писателя мечта о некоем естественном законе всеобщего братства людей. Сентиментальный австриец и Николай Ростов не просто славили мир на разные голоса. «Оба человека эти, – скажет Толстой, – с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись…»

Была между тем область жизни, которая выглядела, с точки зрения писателя, самым постоянным, устойчивым центром единения. Широко известно его высказывание: «В «Анне Карениной» я люблю мысль *семейную,* в «Войне и мире» любил мысль *народную,* вследствие войны 12-го года…» Записанное в марте 1877 года его женой Софьей Андреевной (которая и выделила в нем ключевые слова), оно ста-

ло восприниматься как завершенная формула. Тем не менее «мысль народная» не могла и в малой степени развиться у Толстого вне «мысли семейной», столь же существенной для «Войны и мира», как и для более позднего, может быть самого совершенного, создания писателя. Только на страницах этих двух произведений она развивалась по-разному.

Картины семейной жизни составили самую сильную, вечно неувядающую сторону «Войны и мира». Семья Ростовых и семья Болконских, новые семейства, которые возникали в итоге долгого пути, пройденного героями, – Пьера Безухова и Наташи, Николая Ростова и княжны Марьи, – запечатлели правду русского жизненного уклада так полно, как только это было возможно в пределах толстовской философии.

Семья представала тут и связующим звеном в судьбе поколений, и той средой, где человек получает первые «опыты любви», открывает элементарные нравственные истины, учится примирять собственную волю с желаниями других людей; откуда он выходит в несравнимо более обширную общую жизнь и куда возвращается, чтобы найти успокоение и гармонию. В семье открывалась героям не только текущая, сиюминутная, действительность, но оживала их родовая память. Потрясающие сцены охоты Ростовых выглядели «отголоском» древнего охотничьего обряда, который не умирал со времен далеких предков.

Семейные описания всегда имели в «Войне и мире» глубоко русский характер. Какая бы из подлинно живых семей

ни попадала в поле зрения Толстого, это была семья, где ценности нравственные значили много больше, чем земной временный успех, семья открытая, сотнями нитей соединенная с миром, готовая «вобрать» в число домашних, «своих», не одну кровную родню, а все «население» дворянского дома, ответить любовью каждому, кто с чистым сердцем вошел с ней в соприкосновение. Никакого семейного эгоизма, превращения дома в неприступную крепость на европейский манер, никакого безразличия к судьбам тех, кто находится за его стенами.

Речь, конечно, в первую очередь о семье Ростовых. Но и семья Болконских, совсем другая, временами кажется – «тяжелая» и замкнутая семья, тоже включала в себя, только по-своему, «по-болконски», самых разных людей: от архитектора Михаила Иваныча до учителя маленького Николушки, француза Десаля, и даже (куда ее денешь?) «расторопной» m-lle Bourienne. Русская широта и открытость Болконских, разумеется, была не для всех без исключения. Но, скажем, Пьер Безухов за время пребывания в доме узнал ее вполне. «Пьер теперь только, в свой приезд в Лысые Горы, – рассказывал Толстой, – оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер с старым, суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они

все уже любили его. Не только княжна Марья ‹…› самым лучистым взглядом смотрела на него; но маленький, годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иваныч, m-lle Bourienne с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем».

И все же эту великую правду человеческих отношений приходится отличать от той философской «мысли семейной», что имел в виду сам Толстой, приступая к созданию своей книги. Семейное счастье было для него всесторонним явлением природной, «естественной» любви. В описании приема, оказанного Болконскими едва знакомому с ними Пьеру, важнейшими, «ключевыми» не случайно оказались простые слова: «Они все уже любили его».

В семье появляется земная жизнь, в семье она протекает, и в семье, на руках родных и близких (так должно быть!), она завершается. В семье получает она родовые неповторимые признаки, всегда блестяще «схваченные» в «Войне и мире». Это, полагал Толстой, и есть мораль во плоти, которая выражает себя слезами и смехом, тысячами других примет. Духовная традиция, усвоенная с молоком матери, переданная воспитанием, укрепленная гражданскими началами, была для Толстого малосущественна. Семья представлялась ему своеобразным «перекрестком» живых эмоций. В ней, полагал он, вечно пребывает не омраченная рассудком отзывчивость, которая без любых «общих» истин сама ска-

жет человеку, что в мире хорошо, а что плохо, сольет родных и даже посторонних в одно любящее целое. Наиболее полно такие понятия создателя великой книги отразил важнейший в «Войне и мире» образ Наташи Ростовой.

При всей его конкретности, развитии по мере продвижения к эпилогу, образ этот прежде всего идеальный. По отношению к Наташе как своеобразному центру произведения раскрывалась потаенная суть всех основных действующих лиц. В соприкосновении с ее судьбой Пьер Безухов, Андрей Болконский находили независимую от своих «умствований» точку опоры. До определенной степени Наташа в «Войне и мире» служила мерой подлинности всего и вся.

Набрасывая предварительные характеристики будущих героев книги, Толстой записал: *«Наталья. 15 лет.* Щедра безумно. Верит в себя. Капризна, и все удается, и всех тормошит, и всеми любима. Честолюбива. Музыкой обладает, понимает и до безумия чувствует. Вдруг грустна, вдруг безумно радостна. Куклы».

Уже тогда в характере Наташи без труда угадывалось то самое качество, что, согласно философии Толстого, в наибольшей мере отвечало требованию истинного бытия, – полная непринужденность. Начиная с первого появления маленькой героини перед гостями дома Ростовых она вся была движение, импульс, неумолчное биение жизни. Эта вечная неуспокоенность только проявлялась по-разному. Толстой видел тут не просто ребяческую подвижность Наташи-под-

ростка, восторженность и готовность влюбляться в целый свет Наташи-девушки, страх и нетерпение Наташи-невесты, тревожные хлопоты матери и жены, а бесконечную пластику чувства, явленного в самом чистом, неомраченном своем виде. Исключительный дар непосредственного чувства определял, согласно внутренним законам произведения, и нравственное совершенство Наташи. Ее переживания, больше того, любой внешний отголосок этих переживаний выглядели в «Войне и мире» как сама естественная мораль, избавленная от всякой искусственности и фальши в толстовском их понимании.

Один из первых критиков, писавших о книге Толстого, – П. В. Анненков однажды назвал Наташу «поэтической графиней-ребенком, ‹…› не получившей ни малейшего нравственного образования в дому, подверженной всем искушениям собственного своего организма и беспокойной мысли»[1]. Известный литератор, одно время близкий Толстому по духу, оценивал героиню «Войны и мира» с точки зрения устоявшихся нравственных традиций.

Толстой, однако, веровал и мыслил нетрадиционно. Чувство не признает образования. Оно безупречно ведет к добру и единению лишь тогда, когда на нем нет никакой узды. Так, Наташа не могла понять, зачем нужно ее жениху Бол-

---

[1] Анненков П. В. Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир»// Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989. С. 42.

конскому, хотя и по требованию сумасбродного отца, откладывать свадьбу на целый год. Независимо от любых разумных доводов такая отсрочка представлялась оскорбительной для «святыни чувства». Ничем не сдержанная эмоциональная жизнь в доме Ростовых заменяла собой (такой вывод напрашивается неизбежно) любые нравственно-образовательные начала. И это свободное чувство, создавая дорогую Толстому атмосферу «интуитивного добра», формировало идеальный характер Наташи.

В «Капитанской дочке» герой Пушкина Петр Гринев говорил о своей избраннице Маше Мироновой: «Я нашел в ней благоразумную и чувствительную девушку». В данном случае имелось в виду то известное всему православному миру благодатное единство, когда просвещенный Свыше разум смиряет и обогащает чувство, а просвещенное чувство согревает его сердечной теплотой. Для Толстого вопрос так не стоял. В 1867 году, развивая мысль, высказанную в письме к нему замечательным лириком и едва ли не самым близким его приятелем этих лет А. А. Фетом, он написал: «От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем *умом сердца,* как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое. *Ум ума и ум сердца* – это мне многое объяснило)».

Подобное «раздвоение» понятия «ум» означало в рамках толстовской философии противоречие рационального и эмоционального, «чувствительного» сознания, по сути, противоречие разума и чувства.

Это мнимое противоречие, говорить и думать о котором начиная с XVIII века стало общепринятым, вполне отражало постепенное «обмирщение», «заземление» мысли у людей новой поры. Святоотеческая традиция с давних времен называла духом именно человеческий разум. Соединенный со своим истоком – Духом Божиим, он возвышал также и чувствительную сторону в человеке. С наступлением эпохи Просвещения приверженцы новых идеалов утратили в себе это связующее начало. Понятия «разума» и «чувства» получили для них совершенно иное измерение, переместились в сугубо горизонтальную, земную, плоскость и потому неизбежно стали «разобщенными», враждебными одно другому.

Разум у Толстого представлял собой нечто вполне земное. Точно так же сердце означало вечно взволнованную плоть и кровь, но никак не духовный орган – средоточие мистических начал бытия.

Наташа Ростова в высшей степени была наделена умом такого сердца. Понятие о благоразумии (благом разуме) исключалось самим строем «Войны и мира», попадало в разряд искусственных, «головных», цивилизованных. Вместо него оставалась независимая чувствительность в новом для нее «царственном» значении. Это она, как самый действенный ключ, по-житейски открывала Наташе, кто есть кто, заставляла, как это случилось однажды в романе, искать «свободные» от общих понятий, различимые лишь по форме и цвету, «абстрактные» определения знакомых людей: «узкий,

серый, светлый» Борис Друбецкой, «темно-синий с красным, четвероугольный» Пьер Безухов…

Представление Толстого о прекрасном всегда было неотделимо от его нравственных убеждений. Он говорил: «красота», «добро», «правда», полагая тут некое нерасторжимое единство, возможность замены одного слова другим. Эти понятия – иногда к ним или взамен одного из них добавлялось еще «простота» – образовали своего рода устойчивую формулу толстовской веры времен создания «Войны и мира». Нравственно совершенный, согласно понятиям писателя, образ Наташи заключал в себе также его идеал прекрасного. Неправильные черты только оттеняли в ней привлекательность естественной жизни, которую сам Толстой находил единственным источником не только нравственности, но и гармонии. «Смущенная» плоть Наташи в нескромном, по моде того времени, выходном платье и «мраморные» плечи Элен Безуховой составляли в романе разительный контраст между живым и мертвым, подлинным и ложным. Красота главной героини «Войны и мира» именно и заключалась в непреднамеренном единстве красоты внешней и внутренней.

В любом ее качестве это была, конечно, земная, «чувствительная» красота. Слово «прелесть», которым обыкновенно стремился выразить ее художник, в его исконной глубине не допускало иного смысла. Древнерусская литература, церковные писатели одного времени с Толстым употребляли его ис-

ключительно как негативное. Оно означало высшую степень обольщения, обман, соблазн, восходящие, как все греховное на свете, к падению первых людей – Адама и Евы. Один из трудов современника Толстого – святителя Игнатия Брянчанинова так и назывался: «О прелести». Светские литераторы XIX века, как правило, не обращали внимания на вековое содержание этого слова. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, многие другие уже использовали его для обозначения женской привлекательности и красоты в их наивысшем проявлении. Нередко оно означало у писателей новой поры также восторженное духовное состояние.

Героиня Толстого, восхищаясь человеком, природой, событием не раз повторяла: «прелесть». Наиболее очевидный тому пример – Наташа весенней ночью в Отрадном и ее слова, случайно услышанные Андреем Болконским. «Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, – сказала она почти со слезами в голосе. – Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало». Но и сама Наташа – тоже прелесть. Эти слова говорились о ней в романе, его начальных томах, тоже постоянно. Получалось, что прелесть мира сходится в Наташе и от нее же исходит. Героиня романа с ее «даром чувства» знала самую прямую дорогу к разлитой в мире нравственной первооснове и одновременно, как никто другой на страницах «Войны и мира», несла ее в себе. Наташа не только дарила персонажам книги отраженный свет «земного бо-

жества», но и словно позволяла прямо ощутить его в себе самих, прикоснуться к туманной тайне мироздания.

В эпилоге своего произведения Толстой, впрочем, показал уже другую героиню: лишенную прелести, увлеченную семейными заботами. И все-таки он не мог не упомянуть, что Наташа-мать – это «сильная, красивая и плодовитая самка». Подлинно священной, как в начале книги, так и в ее заключительных главах, оставалась для него богато одаренная живая природа. Былые «прелестные» начала только теснее соединились теперь со своим истоком. Таким был закономерный (прекрасный, по убеждению писателя) итог развития образа.

Между тем образ этот отчетливо соотносился у Толстого с характером русского народа, каким понимал его художник. Во время знаменитой сцены у дядюшки не танец даже, а всего лишь первое движение, сделанное Наташей, безошибочно задело в душе каждого, кто видел его, именно русскую струну. «Разве мы немцы какие-нибудь?» – восклицала она в одном из наиболее трогательных эпизодов книги, призывая родных накануне оставления Москвы в 1812 году отдать «под раненых» уже готовые перевозить домашнее имущество подводы. *«Мысль семейная» и «мысль народная»* выступали в «Войне и мире» как *мысли взаимопроникающие,* восходили к одной философской первооснове. Образ Наташи по-своему связывал их вместе. Нравственные ценности русского народа, подобно идеальным чертам в образе геро-

ини, представлялись Толстому такими же естественными и земными, укорененными непосредственно в гармонии мира.

Уже первое среди военных описаний произведения – Шенграбенское сражение – по-своему утверждало в массовых сценах «Войны и мира» толстовское понимание подлинно нравственной жизни. Естественность и непринужденность в действиях тысяч людей на поле боя становились тут главным залогом почти невероятной победы русских солдат. Все совершилось как бы само собой, в силу свободного, никем не направляемого хода вещей. Русский командующий князь Багратион не отдавал никаких приказов, только «освящал» своим одобрением произвольные действия подчиненных. Артиллеристы на батарее капитана Тушина сами увидели, куда им стрелять, и, словно нечаянно, определили своими действиями исход сражения. Непосредственный импульс (вот так же позднее, в бою под Островно, Николай Ростов, повинуясь, как до этого на охоте, минутному порыву, «не думая, не соображая», опрокинет в нужный момент французских драгун) двигал и прочими участниками битвы. Она развернулась как естественное течение жизни и завершилась так, как только и могла закончиться у Толстого. «Все хорошо, что хорошо кончается», – думал он поначалу назвать свое произведение.

Центральным действующим лицом шенграбенского эпизода, на котором сходились все «лучи» толстовского описания, стал простой, скромный капитан Тушин. Образ этот со-

единил в себе так много национально значимых черт, собрал приметы стольких реальных лиц и даже литературных персонажей (капитан Миронов из «Капитанской дочки», Максим Максимыч из «Героя нашего времени»), что стал по праву восприниматься как образ русского воина всех времен. Но за этой могучей правдой всегда в «Войне и мире» скрывалась дорогая Толстому идея о *природной* скромности, *природной* отзывчивости и доброте русского человека, за которыми нет никаких более возвышенных причин. «Схватывая» в неистощимых подробностях богатые плоды национального духа, Толстой предполагал за ними все-таки совершенно особенный дух, особенные законы. Исключительное соответствие требованиям естественного бытия казалось ему самым существенным, определяющим в характере русского народа и войска.

* * *

Отрицательных персонажей в общепринятом смысле слова на страницах «Войны и мира» не было. Принцип «нет в мире виноватых» последовательно соблюдался писателем в ходе его работы. Но противоречие «живой жизни» и цивилизации – главный, всеобщий конфликт произведения – все же ясно сказалось на «расстановке сил» в этой почти необъятной «новой реальности».

Действующие лица «Войны и мира» изначально оказались

разделены на две ни в чем не сходящиеся группы, если не сказать на два лагеря, – «понимающих» и «не понимающих» толстовские красоту, добро и правду. И если первый из этих миров заключал в себе естественную жизнь с ее нравственным течением, то второй был искусственным, мертвым и соответственно лишенным каких бы то ни было моральных основ. По одну сторону тут находились Ростовы, Болконские, «непринужденные» солдаты, офицеры; по другую – Курагины, Берги, Друбецкие, придворные интриганы, штабные чины – «трутневое население армии». Граница, которая пролегла между теми и другими, выглядела почти непреодолимой. Исключение составлял, может быть, только Долохов – действительно «переходный» тип.

Безусловно, любой из таких «безжизненных» героев книги, будь то князь Василий Курагин, его дети – Элен, Ипполит и Анатоль, – Борис Друбецкой или Берг, отличались, как все действующие лица «Войны и мира», ярким своеобразием, а психология любого из них, часто в родовых, наследственных чертах, передавалась Толстым неподражаемо точно. И все-таки «живое» в человеке – скажем, недюжинная энергия Анатоля Курагина (кто из читателей не был по-своему увлечен картинами его молодецких кутежей?) – от начала до конца оказалось поставлено здесь на службу «цивилизованным» страстям: эгоизму, тщеславию, корысти, «осквернилось» воздействием этих страстей. Не одушевленное искренним чувством – единственным источником жизни у Толсто-

го, – природное начало в этих героях словно утратило способность излучать свет.

На протяжении всей огромной книги «люди-автоматы» выглядели как перевернутое отражение, мертвая копия «живой жизни». Эта вечная «подделка» для того и нужна была каждому из них, чтобы удобнее следовать собственным прихотям. Понятия о семейственности, принятые в их среде, резко отличались от тех, которыми дышал непосредственный, отзывчивый дом Ростовых: тут семья становилась только средством достижения сиюминутного интереса. Вездесущий князь Василий устраивал своим детям выгодные партии, задумываясь исключительно о денежном их благополучии, почестях и возвышении. Были, правда, и такие «удачные» браки, когда «родственные души» (похожее тянется к похожему) находили друг друга, как Вера Ростова и Берг, Жюли Карагина и Борис Друбецкой. И тогда возникало нехитрое счастье совместных забот о бытовых удобствах, а возможно, и о передаче «практического опыта» будущим отпрыскам.

Поле, где разворачивали свои интриги всевозможные искатели выгод и жизненных удовольствий, в «Войне и мире» было обширным. Но писатель полагал, что существует и совершенно особая сфера жизни, специально созданная этими людьми в собственных интересах. Князь Василий Курагин, Анна Павловна Шерер, многие другие ловили свою выгоду именно в мутной воде придворных интриг. Между их поро-

дой и существом государственной власти Толстой обнаруживал глубочайшее родство.

Он, конечно, был еще очень далек в те годы от своих позднейших бунтарских настроений. Но под углом его философии государство уже и тогда должно было казаться ненужным, своекорыстным образованием, помехой для непосредственного течения жизни. Государственный Петербург занимался в «Войне и мире» сплошь «искусственной» деятельностью: «отвлеченными» реформами Сперанского, дипломатическими связями, планами военных кампаний… Взгляд Толстого не находил за этими делами никакой, способной вызывать слезы и смех, живой, «чувствительной» опоры. Ни к чему не ведущие «вопросы» и пустая «фраза» пропитали насквозь коридоры власти, какой она была показана в «Войне и мире».

Ничего иного государственная жизнь, по логике писателя, собой и не представляла. Оставаясь верным исторической правде, он показывал восторг Николая Ростова, потом его брата Пети в моменты появления перед своими подданными Александра I. Но делал это всегда с едва заметной снисходительной улыбкой: то был восторг юных неопытных душ. Он увлеченно следил глазами своих героев за переменами в лице государя, передавал его удивительный, так пленявший современников «голубиный» взгляд, выражение его лица, оттенки речи… Но это и был для него весь царь. Значение подлинного центра национальной жизни: духовного, нравствен-

ного и властного – в нем даже не угадывалось. И пожалуй, недалек от истины оказался крупнейший русский мыслитель XX века И. А. Ильин, когда сказал однажды о «Войне и мире»: «Здесь Толстой впервые восстает против *великих мужей* и против государства; здесь впервые заявляет о себе его будущий *анархизм*»[2].

Подлинная жизнь, подлинная нравственность не нуждались, по мысли Толстого, ни в каком цивилизованном воздействии. «Жизнь между тем, – скажет он о русском мире в канун войны 1812 года, – настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований».

Процветание России в начале XIX столетия, весь красочный, многосложный, драматичный «узор» национальной действительности выглядели у Толстого как нечто существующее само по себе, вечное и незыблемое. Представить, что не будь Православного государства – и этот мир пошатнется, уничтожатся многие из дорогих писателю вещей; что Российская Империя – это политое потом и кровью многих поколений драгоценное творение русского народа; что и сама его книга в итоге – тоже один из богатых плодов этого дер-

---

[2] Ильин И. А. Лев Толстой как истолкователь русской души («Война и мир») // Собр. соч.: В 10 т. М., 1997. Кн. 3. Т. 6. С. 439.

жавного порядка, писатель не мог и не хотел. Его герои жили в такой стране, где «наука, музыка, поэзия, любовь, дружба» знать не хотели над собой никаких обязательных начал, не нуждались ни в каком охранении, порядке и форме. Каждая попытка принять законы «цивилизации» оборачивалась поэтому для естественной жизни неизбежным крушением. В первых двух томах «Войны и мира», не считая множества частных поражений, две подобные катастрофы имели значение поистине глобальное.

Измена Наташи Ростовой своему жениху Болконскому, ее намерение тайно бежать из дома с Анатолем Курагиным стало одной из них. Сама жизнь, сама непосредственная нравственность устремилась тут по ложному руслу, дала, возможно, непоправимый сбой в соприкосновении с началом безжизненным, безнравственным. Эта катастрофа выглядела только частным случаем по сравнению с более ранним на страницах «Войны и мира» поражением русской армии под Аустерлицем. Однако эти два события имели для Толстого равный внутренний масштаб. Подобно тому как «живая жизнь» «дала осечку» в истории «падения» Наташи, сбилась она с пути и в первом генеральном сражении русских войск с Наполеоном.

Историческая битва 2 декабря 1805 года действительно представляла разительный контраст относительно небольшому и успешному делу под Шенграбеном. Толстой увидел в таком положении вещей подтверждение собственных мыс-

лей. Под Шенграбеном дело шло о спасении армии, спасении жизни. При Аустерлице русские надеялись одним ударом переломить ситуацию на Европейском континенте, за пределами единственно законных в романе ощутимо близких интересов. Первое из описанных у Толстого сражений 1805 года складывалось как бы само по себе. Во втором придворные чины вздумали «переиграть» Наполеона по его же правилам, прославиться и блеснуть. Начиная с наполеоновской мечты Андрея Болконского и кончая массовым восторгом каждого солдата, его самоуверенной готовностью легко разгромить врага, все представало как победа ложного над подлинным, как поражение, наступившее еще до начала битвы. Механический, «немецкий» «благоразумный» план полковника Вейротера оказался «венцом» такого нагромождения фальшивых, по мнению Толстого, ценностей.

Сквозной приметой аустерлицкого ландшафта в «Войне и мире» стал туман, заливающий (так было в действительности) утренние лощины, столь же непроницаемый в начале битвы, как затмившие для русских «свет жизни» отвлеченные, безжизненные начала. Это насквозь «политическое» сражение разворачивалось у Толстого полностью по законам «небытия» и привело армию русских к сокрушительному разгрому. Только дважды, словно возвращая всему происходящему по-толстовски подлинную меру вещей, накануне и в конце сражения, звучали в «Войне и мире» бессмысленные на первый взгляд слова кутузовского берейтора-конюха, по

привычке дразнившего старика из дворовых людей русского генерала: «Тит! Ступай молотить». И эта нехитрая поговорка (ее приводил в своем собрании пословиц В. И. Даль) была словно голос дорогой Толстому «нормальной» жизни, которой даже в наступившем хаосе Аустерлица дела нет до «политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте».

Жизненные промахи своих героев, катастрофы в национальной истории Толстой нигде не рассматривал как бесповоротные. Более того, каждая победа безжизненных начал, какими их видел писатель, оборачивалась в романе неизбежным их посрамлением и торжеством побежденных. Тут заявляла о себе на первый взгляд вечная, небесная правда русской судьбы, правда Воскресения. Впрочем, Толстой исходил из более приземленной логики: природного торжества жизни, ее способности к постоянному возрождению.

Одним из главных «человеческих» итогов аустерлицкого эпизода оказалось прозрение раненого Андрея Болконского, его избавление от кумира Наполеона. Точно так же катастрофа Наташи пробудила в душе Пьера Безухова первые ростки будущей гармонии и счастья. Там и здесь героям в поворотные мгновения их судьбы открылось *небо*, которого прежде они не замечали: небо Аустерлица и московское звездное небо с ярко сияющей на нем знаменитой кометой 1812 года. В том и другом случае рукой великого мастера изображалось поэтическое, волнующее, но все-таки земное небо с его облаками, его светилами, небо толстовской веры: явственно

различимое, обтекающее землю, вечно сопряженное с миром непосредственных эмоций в душе человека. Небо, где нет и не может быть ничего пугающего, грозного, так же как и в душе человека, свободной от «пороков истории»: не случайно грозная комета войны показалась Безухову совсем не страшной. За этим вещественным, воздушным «покровом» почти не угадывалось Духовное Небо, которому дано судить и миловать всех живущих, Небо, уготованное праведникам.

Великая борьба 1812 года стала на страницах книги последним, решительным столкновением начал жизни и смерти, созидания и разрушения, столкновением мира и войны. Тут находилась вершина произведения, откуда были отчетливо видны в их земном воплощении подлинные ценности русского бытия. И одновременно в последних томах «Войны и мира» открылась предельно широко толстовская философия жизни, в том числе ее очевидные противоречия.

Ни один из общеизвестных поводов к войне не мог, по убеждению Толстого, вызвать столь масштабное событие. Уже в самых первых философских отступлениях «Войны и мира» (в дальнейшем их роль будет возрастать) писатель доказывал непроизвольность наполеоновского нашествия. Совпадение «частных воль», торжество элементарных устремлений стало, как полагал он, единственной причиной столкновения Франции и России. Роль Бонапарта, подобно роли русского царя, в наступивших потрясениях казалась Толстому самой незначительной, какую только можно себе

представить.

Согласно его понятиям, иначе и быть не могло. В последних томах «Войны и мира» Толстой часто, очень часто, видел в событиях 1812 года исполнение некоей высшей божественной воли. Но эта воля все-таки рождалась не на небе, а на земле, в бесчисленных сочетаниях жизненных проявлений. Божеством, как бы ни называл ее писатель, выглядела тут естественная жизнь, приводящий ее в движение некий всеобщий *нерв бытия,* а вовсе не лично существующий Бог Вседержитель, предписавший миру незыблемые духовные законы. Понятия греха, искушения, соблазна очень часто оказывались в «Войне и мире» как бы недействительными. Получалось, что это сама жизнь, вечно прекрасная и безупречная, произвела войну – явление уродливое, противное нравственному чувству.

Отношение Толстого к войне, начиная уже с его рассказа «Набег» (1852), оставалось предельно сложным. «Прелесть» войны и ужас войны открывались ему одновременно, вступая часто в неразрешимое противоречие. Толстой в одно и то же время был великим поэтом войны и строгим обличителем бедствий, которые она приносит.

Батальные сцены отличались на страницах «Войны и мира» поразительной свежестью и красотой. Поведение сотен людей на поле боя Толстой изображал во всей полноте и богатстве обостренных войной инстинктов, психических различий, в безостановочной, порожденной чувством непроиз-

вольной работе мысли. Тут заявляло о себе то же, что и в «мирных» эпизодах произведения, дорогое Толстому естественное начало бытия. Разве не представляла собой война область предельно ясного его проявления? И писатель увлеченно рисовал переживания «новичка» Николая Ростова, впервые на мосту через Энс познавшего, что такое картечный огонь, волнение этого героя во время стремительной, по всем правилам переходящей из рыси в галоп кавалерийской атаки под Шенграбеном. Другая шенграбенская атака – русских егерей под началом Багратиона – с тем же изумительным искусством передавала уже массовое чувство, сплотившее войска в одном строю.

И все-таки писатель никогда не мог до конца смириться с тем, что составляло самую суть войны, – убийством себе подобных. Отсюда периодически появлялись в «Войне и мире» именно там, где шла речь о боевых действиях 1812 года, авторские слова, осуждающие любую войну. Отсюда и гневная тирада, которая, кажется, в самый неподходящий момент вырвалась у Андрея Болконского во время его встречи с Безуховым накануне Бородинской битвы: «Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще и прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их!» Не только захватчики-французы, но

и русские, чей порыв отстоять родную землю так ярко изображался писателем, совершали, казалось ему, непростительное, великое преступление.

Вопрос о том, как совместить евангельскую заповедь о любви к ближнему и необходимость во имя Веры, Отечества, государства, самих ближних поражать неприятелей в бою (однажды он прямо возникал в душе Наташи Ростовой во время церковного молебна), был на самом деле предельно ясным. Ответ на него давала вековая святоотеческая традиция. Святой равноапостольный Кирилл, отвечая на вопрос, заданный ему сарацинами, о будто бы существующем противоречии между евангельской любовью и оправданием войны, отвечал: «Христос Бог наш повелел нам молиться за обидящих нас и благотворить им, но Он также сказал и это: *больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя.* Мы переносим обиды, если они направлены только против кого-либо в отдельности, но мы заступаемся и даже полагаем души свои, если они направлены на общество, чтобы наши братья не попали в плен, где могли бы быть совращены к богопротивным и злым делам»[3].

Накануне Бородинского дня Андрей Болконский, кажется, вполне осознал эти высокие истины. «Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть… – говорил он Пьеру Безухову, – я не брал бы пленных. ‹…› Французы разорили мой дом и

---

[3] Св. Димитрий Ростовский. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней. М., 1908. Кн. 9. Май. С. 337–338.

идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям». Вслед за этим герой Толстого произносил самые важные слова о готовности «положить душу свою», только и способной оправдать грех войны: «Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!» Но все же Болконский имел в виду исключительно убийство «под горячую руку», вызванное чувством нанесенного оскорбления.

Подлинно поэтической выглядела в глазах писателя лишь война во имя спасения земной жизни, как Шенграбенская битва, как война 1812 года. Все описанные в романе сражения имели одну странную, с исторической точки зрения, особенность. Русские солдаты в них сражались и даже одерживали верх над неприятелем, кажется никому не причиняя вреда. Пехотинцы Багратиона не столько опрокинули штыками, сколько отпугнули неприятеля под Шенграбеном одним своим грозным видом и криком «ура». Батарея Тушина, кажется, лишь подожгла занятую французами деревню. Военные люди из числа героев Толстого: Андрей Болконский, Николай Ростов – проводили в походах значительную часть своей жизни, тем не менее никому из них не пришлось «замарать рук». Ростов, правда, один раз ударил саблей попавшего ему под руку французского драгуна, но только слегка поранил его и при этом испытал целую бурю переживаний.

Писатель верил: его соотечественники, как ни один другой народ на земле, способны понять и сберечь естествен-

ный, от природы усвоенный мир. И потому везде, где у него заходила речь о русских войсках, он показывал «армию мира» – армию, которая ведет словно бы войну без войны. Были у Толстого и отдельные персонажи из русских, для которых жестокость в 1812 году сделалась нормой: «гроза французов» мужик Тихон Щербатый, Долохов, который стал командиром партизанского отряда. Но тут скорее изображались характеры исключительные, поставленные «на обочине» национальной жизни.

Убийства, разрушения, агрессия стали в «Войне и мире» уделом исключительно мертвой, «цивилизованной» действительности. Французы, как видел своими глазами Пьер Безухов, кололи штыками артиллеристов, захваченных на батарее Раевского, расстреливали «поджигателей» в опустошенной Москве, убивали ослабевших пленников во время отступления из России. Это французский император Бонапарт приказывал под Аустерлицем истреблять из пушек войска своего противника, бегущие по тонкому льду едва замерзших прудов. Это он испытывал неодолимую страсть рассматривать трупы, объезжая поля сражений.

Наполеон, каким он был показан у Толстого, уже с момента выхода «Войны и мира» в свет вызывал споры, критику, даже насмешки. Поклонники французского императора считали и считают образ его оскорбительным, в лучшем случаев несерьезным. Но даже и у тех, кто никогда не разделял восторга перед самым знаменитым деятелем новой истории, кто

видит в наполеоновском принципе «сколько людей, столько истин» прямую угрозу для мира и человека, такой Бонапарт способен порождать известное недоумение. Толстой не только отверг любое представление о гениальности «маленького корсиканца», но и отказал ему в какой бы то ни было всемирно-исторической роли.

Нельзя сказать, что писатель доверялся в работе над этим образом только свободному полету фантазии. Как и в любом другом случае, когда он говорил о невыдуманных лицах, только, может быть, еще более строго, он добивался тут соответствия своего рассказа подлинным фактам. Сцены, где у Толстого действовал Бонапарт, всегда имели под собой реальный, как правило, весьма близкий «Войне и миру» по своему внешнему рисунку эпизод из жизни знаменитого завоевателя. Нечто подобное происходило и с его изречениями. А все-таки Наполеон в «Войне и мире» стал персонажем «новой реальности», подчинился ее законам. Оценивая французского императора под углом дорогих ему ценностей, Толстой не мог увидеть в нем и малейших проблесков естественной жизни.

Тщеславие, эгоизм, самовлюбленность в лице Бонапарта достигли на страницах «Войны и мира» своего предела. Он стал наиболее полным выразителем мертвых начал цивилизации. Все, что отличало породу Курагиных, Бергов, Друбецких, получило в этом герое законченное свое выражение. Абсолютная, гулкая пустота владела душой толстовско-

го Наполеона. Он оказался первым среди «непонимающих». «Никогда, до конца жизни, – скажет Толстой, – не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение». Главным орудием цивилизованных страстей стала и здесь имитация жизни, ее механическое копирование. Артистические способности французского полководца отмечали многие, кто его знал. В «Войне и мире» страсть к лицедейству выступила в характере Бонапарта как самая главная, определяющая.

В отличие от многих, показанных у Толстого «маленьких Наполеонов», не метивших так высоко, император Наполеон мечтал перевернуть по собственной воле весь земной шар. Это стремление несло в себе много зловещего. Но цивилизация, «подделка под жизнь», верил писатель, не способна участвовать в жизни, тем более направлять ее течение. О какой гениальности можно было говорить, если военная и государственная сфера – это сплошной обман, «то, чего нет»? Вся деятельность Бонапарта сводилась у Толстого к одному: он приписывал себе сражения и походы, которые случились бы и без его участия, брал на себя ответственность за все возможные, не им совершенные злодеяния. «Живая жизнь» поэтому неизменно посрамляла самовлюбленного героя. Он был не только страшен, но и смешон, сам помещая себя в заведомо ложные ситуации.

Наиболее поразительный пример подобного «конфуза» – сцена с денщиком Николая Ростова плутоватым Лаврушкой. Увлекся Лаврушка мародерством, попал в плен и «удостоился чести» на походе беседовать с Наполеоном. Хитрый «казак» сразу понял, кто перед ним. А Наполеон, занятый мыслями о собственном величии, был уверен, что его не узнали. И Лаврушка битый час через переводчика «ломал перед ним комедию». Понятно, что Бонапарт обрадовался, когда в ответ на «страшное известие» о личности своего собеседника «казак» «сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь». От радости император отпустил пленника на волю. В этой уморительной сцене «остался в дураках» не только Бонапарт, но и его восторженный биограф Л. А. Тьер, важно и глубокомысленно изобразивший похожую ситуацию.

Как ни остроумны, многозначительны, как ни оправданны были такого рода картины, они, конечно, относились к толстовскому герою и гораздо меньше к Наполеону мировой истории. Этот погруженный в «безумие эгоизма» персонаж явился прямым, недвусмысленным ответом писателя на тот вызов, что бросал миру наполеоновский жизненный принцип, и все же ответом не до конца последовательным.

Человек своего времени, Толстой опровергал великое заблуждение новой эпохи отчасти «по-наполеоновски», выдвигая против него не столько Вечную Истину, известную поколениям русских, сколько свою личную художественную

философию. Наполеон, каким он предстал в романе, избавленный от его зловещей духовной природы, лишенный гениальности, был опасен только по меркам «Войны и мира». Но лишь такого Наполеона, пожалуй, только и могли одолеть русские люди, по-толстовски вооруженные «естественной» силой и правдой.

Писателю казалось, что неприятельское нашествие в 1812 году победила и отбросила исключительно почвенная жизнь. «Бесконечно малые элементы», из которых складывается ткань событий, выглядели в романе как бы единственно реальными. Все прочее было миражем. Не только Россия и русский дух отвергали в «Войне и мире» чуждую вражескую силу; толстовская вера побеждала тут все несогласные с ней жизненные начала. Война 1812 года становилась решающей войной почвенного и надпочвенного, непринужденного и оформленного.

Правда Отечественной войны с Наполеоном заявила о себе в картинах и образах великой книги как самая подлинная реальность национального мира. Русские люди были тут всегда настоящими, живыми людьми. Не только центральные герои произведения, но и смоленский «дворник» (хозяин постоялого двора) Ферапонтов с его отчаянной решимостью потерять имущество, нажитое годами, скромный капитан Тимохин, десятки, если не сотни эпизодических персонажей представали разными лицами живой, невыдуманной России. Другое дело, что за этой «цветущей почвой» писате-

лю всегда открывалась его собственная святыня. Евангельские, праведные черты в национальном характере означали для него нечто свое, толстовское.

«Рассказы, описания того времени, – утверждал художник, – все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к Отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. ‹…› Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени». Совместить правду частную, эмоциональную и правду государственную, державную Толстому было трудно или почти невозможно. Николай Ростов после своей молодецкой атаки в бою под Островно не видел никакой связи между этим «интуитивным» поступком и полученной им наградой. «Так только-то и есть всего то, что называется геройством? – думал он. – И разве я это делал для Отечества?» Сам писатель нигде и не называл войну 1812 года войной Отечественной. Такие «искусственные» понятия, казалось ему, искажали, даже оскорбляли простоту, безыскусность «живой жизни», были под стать «мертвым» завоевателям, всем без разбора государственным людям, но никак не русскому народу с данной ему полнотой непосредственного, и, значит, скромного, чувства.

Толстой не раз описывал или просто упоминал в «Войне и мире» православные богослужения. Он помнил, какую ве-

ру в подавляющем их числе исповедовали участники и очевидцы великой войны с Наполеоном. Два таких описания: служба в одном из храмов Москвы с молебном о спасении от вражеского нашествия (ее участницей стала Наташа Ростова) и бородинский молебен – отличались на страницах книги особенной теплотой. И все-таки писателю хотелось думать, что здесь молятся именно его, толстовскому божеству, источнику всякого чувства. Стоит лишь внимательно всмотреться в каждую из этих потрясающих картин, как за ними откроется недвусмысленная духовная позиция их создателя. Черновые редакции той или другой из них нередко получались у Толстого куда более близкими духу Православия. Вероятно, это обстоятельство в числе других и заставляло художника браться за их переделку. На страницах «Войны и мира» с ее особенным религиозно-философским строем те прежние описания выглядели неорганичными…

Единство русских людей перед лицом наполеоновской угрозы лишь по видимости могло напоминать в «Войне и мире» столь очевидное для современников событий соборное единение 1812 года. Вместо сплочения в духе Христовом (а иной соборности нет и быть не может!) тут со всей очевидностью проявилось совершенно новое, воображенное писателем единство: слияние отдельных «атомов жизни» в некоем общем для них «духе природы».

Образ пчелиного роя, стянутого к одному центру всепроникающим жизненным инстинктом, не случайно оказался в

«Войне и мире» столь «говорящим», значительным. Особенно ярко он заявил о себе в тех эпизодах, где было показано оставление Москвы ее жителями. Изображая покинутый город, Толстой прямо сравнивал Москву с «обезматочевшим ульем». Точно так же возвращение москвичей на родное пепелище казалось ему подсказанным самой природой обживанием старой муравейной кочки. Вместо *соборности* тут заявлял о себе даже не коллективизм, а некое стихийное *роевое чувство.* Оно представляло собой безошибочный моральный инстинкт, который, по мысли писателя, не нуждался ни в каком руководстве.

«Мысль народная» у Толстого требовала не царя, но руководителя, по-домашнему понятного, умеющего слушать «пульс» непринужденной действительности, чуждого любым «отвлеченным» идеалам. Таким вождем оказался в «Войне и мире» русский главнокомандующий Кутузов. Если Наполеон выглядел у Толстого первым среди не понимающих естественную мораль, то Кутузов находился в центре тех, кто сберегал в себе ее непринужденные законы.

Русский полководец в «Войне и мире» полнее других чувствовал разлитое во множестве «клеточек жизни» абсолютное начало, это «личное безличное», найденное Толстым еще в молодые годы. Это хорошо понял Андрей Болконский, внезапно успокоенный после встречи с Кутузовым в Царевом Займище: «У него ничего не будет своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, ‹…› но он все выслуша-

ет, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, – это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое».

Своеобразная логика «неделания», невмешательства в течение жизни составила главный стержень поведения Кутузова, каким увидел его Толстой. Великая историческая роль русского главнокомандующего на страницах «Войны и мира» в том и состояла, что он позволил событиям развиваться непринужденно, только наблюдая за тем, чтобы вмешательство самолюбия, тщеславия, эгоизма не нарушало стихийно-нравственный порядок вещей. Так он вел себя на Бородинском поле, когда всем существом своим, не отдавая никаких приказов, охранял не подвластный разуму «дух войска». Так поступал и позднее, пресекая попытки догнать и уничтожить бегущие силы Наполеона, потому что видел за этим одно лишь заносчивое стремление «обуздать жизнь».

Подобное отношение к событиям, полагал писатель, в самой полной мере отвечало народным ценностям бытия. «А главное, – думал князь Андрей, – почему веришь ему, – это то, что он русский…» Подводя итог событиям 1812 года, Толстой прямо говорил о Кутузове: «Источник ‹…› необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений

лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его». Эти, такие справедливые, слова, да и весь проникновенный образ полководца, предполагали в последней своей глубине именно толстовскую «мысль народную».

Бородинское сражение 26 августа (7 сентября) 1812 года стало одним из тех событий национальной жизни, когда русский дух являет себя с исчерпывающей силой и чистотой. Столь же ясными, законченными были и сокровенные устремления армии Наполеона. Столкновение в бою вечно враждебных духовных начал оказалось предельно откровенным. Эта последняя определенность, желание каждой из сторон во что бы то ни стало утвердить свои ценности сделали битву исключительно жестокой. Суть и смысл русской судьбы, глубинные пути человеческой истории открылись в ней почти воочию зримо.

Десятки описаний, оставленных россиянами – участниками сражения, передавали единое, только раз в жизни испытанное каждым из них состояние неземного восторга, прикосновения к Небесной Правде. Офицер 1812 года и вдумчивый историк той эпохи И. П. Липранди, вспоминая себя, своих товарищей накануне Бородинского дня, так описывал общее настроение, укрепленное только что состоявшимся молебном: «По окончании священной процессии, все мечтания, все страсти потухли, всем сделалось легче; все перестали почитать себя земными, отбросили мирские заботы и ста-

ли как отшельники, готовые к бою на смерть»[4]. В свою очередь, артиллерийский офицер Н. Любенков рассказывал, что на поле боя «собственная жизнь сделалась бременем, тот радовался, кто ее сбрасывал, – он погибал за Государя, за Россию, за родных»[5]. Судя по многочисленным рассказам русских участников битвы, день неслыханных ужасов и потрясений оказался для каждого из них, уцелевших, моментом подлинного откровения о своей нетленной, ангельской природе, восставшей на защиту не только земного, но разлитого в земном Вечного Отечества.

На страницах «Войны и мира» великая битва русской истории тоже стала центральным событием. Уверенность художника в том, что день Бородина представлял собой прежде всего *нравственный* день, вероятно, только укрепилась после его поездки на поле сражения осенью 1867 года. Острее и глубже большинства своих современников Толстой ощутил от начала до конца проникающий битву, различимый в каждом ее действии характер духовного противоборства. В отличие от Аустерлицкой баталии, он говорил теперь о «великой брани», где русские сражались на своей земле, за свои ценности. И он показал истинно русский бой – простой, бесхитростный и жертвенный.

Русский солдат, начиная от рассказа о полковом смотре

---

[4] Липранди И. П. Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому и в какой степени принадлежит честь того дня? М., 1867. С. IV.

[5] Любенков Н. Рассказ артиллериста о деле Бородинском. СПб., 1837. С. 34.

под Браунау и кончая знаменитой «массовой» сценой встречи Кутузова с войсками под Красным, всегда изображался у Толстого, как нигде больше в отечественной литературе, пластично и выразительно, в сотнях разнообразных лиц. Но солдаты при Бородине в этом отношении, кажется, все-таки не имеют себе равных.

Вся возможная психологическая правда о русском человеке в бою за родную землю, его стойкости и упорстве, внутренней собранности «в отпор происходящему», его отчаянном веселье в минуту опасности прозвучала в потрясающей картине «семейного кружка» артиллеристов на батарее Раевского, куда оказался заброшен наивный Пьер Безухов. Удивительная душевная прочность отличала и солдат из полка Андрея Болконского, безропотно избиваемых в резерве ядрами и гранатами на страшном овсяном поле, готовых полечь все до единого на своем самом «незначительном» месте. Лучшие, возвышенные черты народного характера оказались тут запечатленными раз и навсегда. Дар Толстого «захватывать» воображение читателя достигал при этом просто исполинской силы. Весь ужас ожидания в резерве «своего часа», вся горячность и боевой азарт занятых воинским делом артиллеристов переживались и переживаются каждым из нас, будто испытанные наяву.

Оставаясь верным духу русской истории, Толстой показал не столько сражение, сколько «великое стояние» русских, вооруженных самой истиной, подобно далеким своим

предкам, заступивших дорогу наглому, бесстрашному врагу. Гибель артиллеристов на захваченной врагом батарее, «бесполезная» трата людей полком князя Андрея, смертельное ранение самого героя были выражением глубинной сути русского сопротивления Наполеону. Это любовь, гармония, добро в полном согласии со своей светлой природой отторгали ненависть, разрушение, хаос. Мир противостоял войне. Но то были все же толстовский мир и толстовская война.

Бородинское сражение виделось писателю своего рода последним торжеством начал непринужденного бытия. Он рисовал битву, где ходом дел руководит не воля главнокомандующего, а сама жизнь, сотканная из тысячи случайностей. Сила естественной, природной жизни, как пчел, как растревоженных муравьев, соединила в «Войне и мире» русских людей независимо от их сословия, возраста, звания, соединила тем прочнее, чем более жестоким было оскорбление, нанесенное французами этой жизни.

Современники войны 1812 года часто называли духовный подъем русского народа «воспламенением сынов Отечества». У Толстого встречался похожий образ. Он упоминал некий скрытый огонь, отблески которого там и тут вспыхивали на лицах участников битвы. На страницах «Войны и мира» это был огонь земного, раздраженного и вместе торжественного чувства, разлитый в переживаниях каждого из русских. Вечером накануне сражения Андрей Болконский на вопрос Безухова о том, от чего будет зависеть победа, отве-

чал: «От того чувства, которое есть во мне, в нем, – он указал на Тимохина, – в каждом солдате». Этот земной огонь, этот жар, подирающий по коже, пронизывал при Бородине всю живую плоть русской армии. Солдаты, офицеры, генералы поступали лишь по его велению, обретая каждый в себе физически ощутимую «святыню жизни». Это она двигала в романе тысячами отдельных импульсов, определяя характер сражения и его исход. Русское войско представало как единый, чуждый всему формальному, «сгусток естественного бытия».

Споры о том, кому принадлежала победа на Бородинском поле, не затихают и по сей день. Толстой был одним из первых, кто в потомстве определил результат сражения как безусловную победу русской армии. Завершая описание битвы, он сказал об этом в самых торжественных словах, ныне ставших едва ли не хрестоматийными. «Не та победа, – говорил писатель, – которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным».

Вслед за Толстым сегодня мы верим, знаем: это так и есть, Бородино – нравственная победа наших предков, наша победа. И все же величественный итог Бородинского дня подводился писателем совершенно в духе его собственных фило-

софских воззрений. Какую нравственность имел в виду Толстой? Ни один участник сражения, пожалуй, не посмел бы назвать знамя куском материи на палке. За знамя отдавали жизнь. То была самая честная, праведная смерть. Но Толстой определенно хотел противопоставить моральную победу русских этим, как он утверждал, кускам материи, воплощенному в них державному нравственному началу. Иначе рассуждать, по всей вероятности, он не мог.

Андрей Болконский под Аустерлицем, устремляясь со знаменем в атаку, почувствовал: знамя на ветру тяжелое, оно клонит человека к земле. Очевидно, он мог бы ощутить фактуру ткани, из которой пошито знамя, его цвет. Больше оно ни о чем не говорило естественному чувству, во всем принадлежало к разряду пустых «отвлеченностей». Болконский убедился в этом всего миг спустя после своего аустерлицкого ранения. «Как тихо, спокойно и торжественно, – думал он при виде плывущих по небу облаков, – совсем не так, как я бежал, **‹…›** не так, как мы бежали, кричали и дрались…» «А, знамена!» – рассеянно, как о чем-то постороннем скажет Кутузов в «Войне и мире» после сражения под Красным, когда его внимание обратят на захваченные трофеи. Говоря о нравственной победе русской армии при Бородине, Толстой, как и прежде, имел в виду торжество дорогого ему, как полагал он, безгрешного, земного бытия.

* * *

Среди многих и многих персонажей «Войны и мира» Андрей Болконский и Пьер Безухов занимали совершенно исключительное место. Говоря о Ростовых, капитане Тушине, русских солдатах и офицерах, Толстой описывал дорогую ему бессознательно-нравственную жизнь, которая подчиняется прежде всего инстинкту и чутью. Она была не в состоянии осмыслить собственную «святость», понять, почему она такова. Нечто подобное происходило и с действующими лицами иного рода. Курагины, Друбецкие не думали, хорошо или плохо то, что они затевают в данный момент. Андрей Болконский и Пьер Безухов, исключая отдельные «проблески» моральных суждений у других действующих лиц, несли в себе уже полностью осознанное стремление найти в мире нравственное начало, построить свою жизнь в согласии с ним.

Расположенные к самоанализу герои «Войны и мира» между тем изначально несли на себе печать противоречия, свойственного взглядам их создателя. Получалось, что в их лице цивилизованный человек при помощи отвлеченного разума хотел познать нечто, отрицающее разум; что рассудок, не основанный на чувстве, нужен человеку лишь для того, чтобы убедиться в ненужности такого рассудка. Ибо до тех пор, пока человек будет разумным, он не достигнет

полноты совершенства, в лучшем случае разум потребуется ему для защиты естественного течения жизни от цивилизованного вмешательства. Искания героев неизбежно устремлялись к тому, чтобы освободить во всей возможной полноте «неомраченное» чувство, достичь тем самым дорогих Толстому ценностей бытия, неотделимых от самой природы.

Разумеется, у того и другого героя были разные дороги к одной цели. Открытый, безалаберный, наивный, праздный Пьер Безухов. Сдержанный, внешне холодный, сосредоточенно деятельный князь Андрей. В судьбе каждого из них сбывалась единая логика, но сбывалась по-своему.

Обоих героев отличала своеобразная «честность мысли», оба они искренне служили тому, что в данный момент считали истиной. Может быть, именно это внутреннее благородство и стало главной причиной того, почему вот уже несколько поколений читателей так искренне сопереживают князю Андрею и Пьеру, вслед за их создателем так любят этих героев. Собственный разум не был для них игрушкой, как для умницы-дипломата Билибина. Убеждение и жизнь следовали тут нераздельно. Оттого и были столь болезненны, глубоки постигавшие обоих душевные и жизненные катастрофы. Зато и моменты «обретения себя» тем и другим героем означали самое полное торжество внутреннего идеала «Войны и мира».

На протяжении первых томов книги Болконский и Безухов не раз терпели поражение, попадая в «ловушки» циви-

лизованного мира, испытывая на себе его сокрушительное воздействие. У князя Андрея была наполеоновская мечта, было одинокое, философически оправданное «доживание» в Богучарове, потом – разбитые надежды семейного счастья и желание отомстить своему обидчику Анатолю Курагину… Безухова «сбивали с пути» навязанный герою брак со светской распутницей Элен, мертвая трясина масонской мистики…

В 1812 году героям предстояло «возродиться» через участие в народной войне, открыть глубинные истины о жизни человека и мира. Решающая борьба с Наполеоном действительно оказалась для многих из тех, кто жил тогда в России, моментом такого прозрения. Но прекрасные, возвышенные персонажи произведения все-таки действовали в пределах «новой реальности», сложно соотнесенной с подлинными законами истории, духовными законами Вселенной. Сами они составляли неотъемлемую часть этой реальности и потому вполне по-толстовски постигали в сокровенных ее основах толстовскую же картину мира. Нечего и говорить, что каждое погружение писателя в душевный мир того и другого несло при этом непреходящие художественные открытия.

Отечественная война, какой она предстала у Толстого, дала (в отпор неприятельскому нашествию) исключительную свободу заложенным в мироздании добрым, естественным началам. Князь Андрей и Пьер тоже должны были пройти

через «очищение» в самих себе этого природного источника красоты, гармонии, правды. Оба они с началом боевых действий смутно испытывали потребность бежать от любых «отвлеченностей» туда, где вершится «живая жизнь». После увиденной в Дрисском лагере настоящей схватки штабных и придворных страстей Болконский по собственному выбору, повинуясь только чутью, становится простым и деятельным полковым командиром. Отказался он позднее и от предложенной Кутузовым должности при штабе – должности, грозившей поставить его «над жизнью». И старый полководец, хранитель этой естественной жизни, хорошо понял его решение: «Нам не сюда люди нужны!» Точно так же Пьер Безухов, сам не зная, как и почему (все нравственное в «Войне и мире» совершалось непроизвольно), покинул Москву с ее «цивилизованным кипением», чтобы неожиданно для себя (только так, а не иначе!) появиться на Бородинском поле в самый канун сражения.

Нельзя сказать, что судьбы героев на первом этапе войны были свободны от прежних и даже новых, по ходу дела возникающих «помрачений». Князь Андрей, кажется, лишь отодвинул до поры гордые планы своей мести Курагину. Увлекающийся Пьер принял самое живое участие в московской встрече государя (по логике романа, все же пустом, несущественном деле) и даже, на волне общего энтузиазма, взялся «выставить» новый полк на собственные деньги. Именно битва при Бородине означала для каждого из них

ту особую черту, за которой героям начинала открываться подлинная святыня толстовского мира. Андрей и Пьер, каждый на своем месте, переживали этот решающий день как своеобразное «вхождение» в тайну «естественного» бытия. Безухова еще могли посещать и в дальнейшем «атавизмы» цивилизованной мысли вроде его намерения, переодевшись мужиком, убить Наполеона, но «импульс» Бородина продолжал вести его единственно возможной в романе дорогой.

Участь князя Андрея, смертельно раненного на поле Бородина, почти во всем была сродни судьбам тысяч русских воинов, которые «положили живот за други своя» в невиданном прежде побоище. Но свою великую жертву герой романа все-таки приносил в таком художественном мире, где предполагалась некая исключительная нравственность с ее особенной, туманной первопричиной. Последние недели на земле стали для умирающего Болконского временем окончательного ее постижения. Просто и непосредственно герой открывал в себе те самые ценности, во имя которых он не щадил жизни в бою.

При всем обилии существующих превосходных оценок рассказа об этой смерти все они кажутся бедными. Никогда – ни до, ни после «Войны и мира», ни даже в самой книге – Толстой больше не создавал ничего подобного. Медленное угасание князя Андрея рисовалось в целой веренице сменяющих одно другое внутренних видений, недолгих «возвращений» героя в окружающую реальность, мыслей о жизни,

о себе под углом того, что открывал он теперь в приближении своего земного конца. От последовательности в течении болезни (этому удивлялись даже военные врачи, наблюдавшие людей с такими точно ранами, как у Болконского) до смены у раненого различных душевных состояний – все передавалось настолько правдиво, что можно было говорить о подлинной «диалектике смерти». На этот раз Толстой показывал смерть по-своему идеальную. Главным тут было нравственное «возрастание» героя: ничем не нарушаемое, мирное, устремленное к одной, ясно различимой цели.

Бородино окончательно избавило князя Андрея от его мстительных планов и честолюбивых надежд. Уже в первые часы после своего ранения он испытал словно возвращение в «самое дальнее детство», в ту пору человеческой жизни, что всегда казалась Толстому счастливейшей, не омраченной страстями цивилизации. И вместе с этим к Болконскому пришло чувство новой, лишь в детстве испытанной любви. Эта любовь ко всем людям на свете переполнила собой душу князя Андрея при виде рыдающего на операционном столе, изувеченного в бою его вчерашнего врага – Анатоля Курагина. И она же позднее прозвучала в его словах, обращенных к Наташе Ростовой во время такой неожиданной для обоих встречи в Мытищах: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде».

Но эта новая любовь, обретенная героем с почти невозможной на земле полнотой, уже предвещала его недалекий

уход. Она и была сама тем безличным *нечто,* которое прежде иногда открывалось князю Андрею в самых сильных его переживаниях. «Всё, всех любить, – говорил Толстой о своем герое, – всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью». С каждым днем своего умирания Болконский все дальше уходил в ту огромную, даже более отдаленную, чем его собственное детство, ту, предшествующую жизни, бывшую до появления героя на свет, будущую после его конца, безбрежную субстанцию любви. «Любя всех», он больше не мог земной любовью, как прежде, любить Наташу, княжну Марью, любить своего сына Николушку…

Смерть Андрея Болконского, и это очевидно каждому, кто бы ни читал «Войну и мир», вовсе не представлялась Толстому исчезновением. В потрясающих душу красках тут был показан переход, возвращение жизни от поверхности к центру, от разобщенного личного к общему и безличному. Это начинал понимать в самые последние свои дни после приснившейся ему (поразительно!) смерти перед смертью и сам герой. «Да, смерть – пробуждение!» – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту

странную легкость, которая с тех пор не оставляла его».

Была ли то христианская смерть? Показывая медленное движение своего героя «в область любви», Толстой упоминал его интерес к Евангелию. Еще на перевязочном пункте при Бородине Болконский вспоминал о том, чему учила его православно верующая княжна Марья. В рассказе о последних часах князя Андрея было сказано, что его причастили и соборовали. Все эти приметы русской веры тем не менее словно принадлежали миру живых, для самого же умирающего речь велась о чем-то совсем другом. Некогда великий современник Толстого К. Н. Леонтьев – чуткий, любящий читатель «Войны и мира», отдавая должное таланту писателя, вынужден был признать верования князя Андрея «своевольными и бесформенными», определить их как «филантропический пантеизм». «Приятно, – говорил он, – что к этой «кончине живота» можно приложить *почти* все трогательные эпитеты церковного моления: и «мирная кончина», и «безболезненная» и, конечно, уж «не постыдная», а «честная и славная»! Но очень обидно, что главного из этих эпитетов – «кончина живота *христианская»* – произнести нельзя! Конечно, жаль, и больно, и обидно»[6].

Как не разделить и нам горечь замечательного мыслителя! И как не удивляться вслед за ним всепокоряющей силе дарования Толстого! В то же время, увлеченный красо-

---

[6] Леонтьев К. Н. О романах гр. Л. Н. Толстого: Анализ, стиль и веяние. М., 1911. С. 64.

той художественного описания, Леонтьев, пожалуй, не заметил, а скорее не захотел вынести на свет важнейшее обстоятельство: «филантропический пантеизм» Болконского не был только достоянием героя «Войны и мира». Он пронизывал собой все произведение, определял как таковую внутреннюю позицию его создателя. Им дышало все толстовское Бородино, так же как и «бородинская» смерть князя Андрея.

Испытавший на себе многие ужасы решительного сражения, видевший своими глазами «разгорание» чувственного огня в русском народе и войске, по-своему приблизился к пониманию «вечной гармонии мира» и мечтательный Пьер Безухов. Только он постигал ее, продолжая «путь жизни», оставаясь в пределах собственной личности, сопричастной новым испытаниям 1812 года. Скитания по Москве, объятой пожаром, допрос у маршала Даву, потом расстрел, не состоявшийся, но пережитый как реальность в предсмертном опыте других, наконец, недели московского плена и долгое движение под конвоем вслед за отступающими французами…

Безухову (он остался жить) не суждено было, как Болконскому, «войти» в ту безбрежную любовь, что могла сполна открываться у Толстого лишь умирающему. Но ощутить ее присутствие в себе, в мире вокруг, воспринять остро, до конца, ее «верхний», чувственно уловимый слой, предположить за ним какое-то иное всеобщее качество добра он сумел, как никогда прежде. Более того, Пьер не только «ощутил»

жизнь во всей ее полноте, но и «вывел» наконец из этого ощущения по-своему законченные понятия. Главы, где было показано пребывание героя в плену, давали своеобразное обобщение, «прояснение» всей художественной реальности «Войны и мира».

«Живая жизнь» (великое благо во всех своих проявлениях) «выкинула» Пьера «из накатанной дорожки», избавила на время от «привычек цивилизации», заняла простейшими интересами, связанными с поддержанием собственного тела. И тем открыла самое себя, «освободила» в герое радостную силу непринужденных ощущений, помогла распознать бессмертную (так думал Толстой) природу чувства. Именно теперь, «обращенный в ничтожество», Пьер испытал состояние безбрежного слияния с миром, а значит, неограниченной свободы и счастья. И как результат пережитого, казалось бы, незначительное происшествие с часовым, однажды преградившим Безухову дорогу (тут невольно приходит на память легенда о Ньютоновом яблоке), вдруг оборачивается для «московского пленника» «мировым» открытием: «Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого – меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! ‹…› Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!»

Открытие, сделанное Безуховым, разумеется, не было новостью для самого создателя «Войны и мира». Вот таким же «балаганом, загороженным досками», представала вся цивилизованная, оформленная реальность на страницах его книги. И чем сильнее, агрессивнее вторгалась она в «живую жизнь», тем свободнее становилась эта жизнь, тем полнее сближалась со своим истоком.

Найденное Безуховым «бессмертие в чувстве» между тем представляло собой только поверхность, «биосферу» толстовского божества, было «неполной истиной». Та религиозная система, что «прояснялась» в сознании героя, вела Пьера к пониманию также последней «безличной глубины», которая так непосредственно открылась Болконскому и которой все больше становился сам Болконский в его последние дни. Эта «зияющая бесконечность» – подлинный адресат всех молитвенных обращений на страницах книги (от молитвы Наташи Ростовой, «внутренних устремлений» княжны Марьи до всеобщего бородинского молебна) – открылась Безухову через фигуру его «товарища по несчастью», пленного солдата Платона Каратаева.

Образ этот, в отличие от десятков других, которые появлялись в «Войне и мире», кажется, единственный не имел в себе почти никаких строго индивидуальных, ясно очерченных примет. Если в чем и состояла его «отдельность» от прочих действующих лиц, то именно в его безличности. Каратаев был земной житель, и потому он трудился: с утра до глу-

бокой ночи даже в плену находил себе разнообразные занятия; он, как умел, помогал другим пленным, любил поговорить о жизни, любил петь. Но все это словно не имело на себе и малейшего отпечатка его собственной личности. «Он все умел делать, – говорилось у Толстого, – не очень хорошо, но и не дурно». «Он пел песни, – продолжал писатель, – не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться…»

Безличная святыня «Войны и мира» обретала в этом герое (хотя в отношении Каратаева понятия: *герой, действующее лицо, тип, характер* – всегда окажутся неверными) настоящего своего подвижника. Пребывая в текущей действительности, он словно был уже вполне погружен в ту любовь, то безбрежное «все», которое, согласно Толстому, «говорило о себе» в каждом отдельном «я»: «Привязанностей дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то

же чувство начинал испытывать к Каратаеву». Действительно, даже и смерть «соколика Платоши», ослабевшего в дороге и пристреленного французами, похоже, «не огорчила» ни его самого, ни подготовленного к этому Безухова. Завыла только собачка, приласканная убитым, и тем лишь раздосадовала Пьера: «Экая дура, о чем она воет?» «Атом бытия», «круглый» Каратаев нырнул с поверхности вглубь. Вот и все.

Тут по-своему для Толстого разрешалось (а на деле, скорее, только углублялось) мучительное противоречие между ужасом войны и поэзией войны. Выходило, что француз, убивший Каратаева, сам того не ведая, совершил великое благо – вернул его туда, где ему и надлежало находиться. Хорошо жить, но хорошо и умереть. Потому что в этой последней любви, этой «нирване» и наступит наконец «вечное счастье» избавления от себя, избавления от личности. Там не будет воздаяния каждому «по делам его», найдется место всем: «понимающим» и «непонимающим». Даже и Наполеон, должно быть, услышит в свой последний час только одно: «Теперь-то наконец ты понял?» – и сольется навсегда с князем Андреем, жертвами Аустерлица, Бородина…

В долгом пути поисков, которым шел Безухов на протяжении четырех томов «Войны и мира», момент смерти «праведного» Каратаева означал достижение конечной цели. «Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества», – «выводил» для себя

Пьер едва ли не конечную формулу толстовской веры 1860-х годов. И как бы во избежание «фразы» тут же находил «обоснование» этой мысли в конкретном образе.

Безухов припоминал старика учителя, который в Швейцарии учил его географии. Но вместо обычного глобуса воображению героя представлялся теперь «живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров». «Вся поверхность шара, – говорилось далее, – состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею». Учитель, давая свой урок, объяснял, что это и есть жизнь. И затем «выстраивал» перед потрясенным «учеником» уже законченную картину Вселенной: «В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез».

Яркая «модель мироздания», которую то ли наяву, то ли во сне увидел Безухов, далеко выходила за пределы собственных переживаний героя. «Новая реальность» романа словно постигала в ней саму себя. Тут раскрывалась до конца и дорогая Толстому «мысль народная». «Совершенный» Каратаев не случайно «отдавал должное духовной жизни Пье-

ра». Что Каратаев бессознательно заключал в себе, то Безухов открывал уже вполне осмысленно. Наученный жизнью «маленького солдатика» и больше – его смертью, он приближался к постижению именно каратаевских истин, тех самых, что, верил писатель, исповедует и весь русский народ.

«…Платон Каратаев, – говорил Толстой, – остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого». И, словно желая утвердить эту «краеугольную» в романе идею, добавлял далее по тексту: «Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом. ‹…› Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда». Впечатления героя и собственный взгляд художника в данном случае шли нераздельно. Лучшим тому доказательством было прямое упоминание в рассказе о Безухове слов из толстовского «символа веры»: «простота и правда».

Все нравственно одаренные герои романа, десятки и сотни народных типов – все «подлинное», о чем шла речь в «Войне и мире», уходя корнями в русскую почву, так или иначе наполнялось «каратаевским духом», таило в себе частицу Каратаева, устремлялось в итоге к этому образу-олицетворению. Семья Ростовых, семья Болконских, Безухов, капитаны Тушин и Тимохин, офицеры, солдаты, мужики, Кутузов – все эти люди, каждый по-своему, утверждали и

охраняли такую «мысль народную». Это она *здесь* и *сейчас* подняла над неприятелем страшную дубину и «гвоздила» до тех пор, пока «чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью». И она же обещала *там*, в ином существовании на земле, ничем не ограниченное слияние со своими врагами. В ней видел Толстой причину самого полного торжества в 1812 году «русского народа и войска». Он искренне полагал, что это и есть «мысль христианская». Рассуждая о закономерности русской победы, «развенчивая» кумир Наполеона, писатель так и сказал: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Каратаевское и христианское были для него, по сути, одним и тем же.

Долгие годы, если не всю жизнь, Толстой мечтал о воссоединении расколотого русского мира. Прежде всего тут имелись в виду простой народ и представители европейски образованных сословий. Герои более ранних произведений писателя: Нехлюдов из повести «Утро помещика» (1856), Оленин из другой повести – «Казаки» (1853–1862) – тщетно искали взаимопонимания, один – со своими крепостными крестьянами, другой – с обитателями кавказской станицы. Народная среда из рассказа «Севастополь в декабре месяце» определенно противостояла «цивилизованным» персонажам «Севастополя в мае», и последний рассказ цикла «Севастополь в августе 1855 года» только отчасти заключал

в себе «образ национального единства».

На страницах грандиозного творения 1860-х годов Толстой, по всем признакам, сумел решить для себя, для своих героев-мыслителей давнюю, мучительную проблему. Но для этого ему пришлось вообразить в красках «новую реальность», вдохнуть собственный дух в национальную историю. Сверкающие жизненной правдой и красотой картины «Войны и мира» хранили в себе не только «благоуханную почву», но и готовый «развернуть» эту почву вспять от своих истоков дух «новой веры». И, словно стремясь поставить последнюю плотину для возможности прочесть им сказанное в каком-либо ином ключе, увидеть в его произведении иную духовную перспективу, Толстой объяснил законы «своей реальности» в огромных по объему историко-философских главах – неотъемлемой части «Войны и мира».

Главы эти часто казались читателям, историкам литературы не до конца органичными, входящими в противоречие с художественным рассказом Толстого. Едва ли это так на самом деле. Все, что было «растворено» в поэтических эпизодах романа, что определило собой характер каждого из его описаний, получило теперь свой законченный вид. Главные идеи толстовской философии 1860-х годов – о непроизвольности исторических событий, восходящих к единому, отраженному в «бесконечно малых элементах» «началу бытия», о невозможности управлять «естественным ходом жизни», о свободе частных поступков и предопределенности движе-

ния истории – оказались только «вынесены» из повествовательной, сюжетной ткани «Войны и мира» на всеобщее обозрение.

* * *

Последние в «Войне и мире» художественные главы показывали ее героев уже в другую историческую эпоху, прямо устремленную к современным Толстому 60-м годам XIX века. В эпилоге произведения изображалось послевоенное время, когда единство минувшей поры оказалось утраченным, – время декабристских тайных собраний, время правительственной реакции.

Пьер Безухов, который порвал с масонами, имел теперь отношение к тайным обществам иного рода (в действительности те и другие были тесно связаны между собой), думал, как переустроить Россию на гуманных, «любовных» началах. Его новый родственник – Николай Ростов держался официальной линии, не допускающей перемен, давящей и непреклонной. «Составь вы тайное общество, – говорил он своему шурину, – начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить – ни секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь». Тут не было, как прежде, столкновения «жизни» и «нежизни». Идейные расхождения грозили пошатнуть саму

естественную жизнь в ее сердцевине. Призрак уже не войны с Наполеоном, а совсем другой войны – гражданской – словно витал над этим спором.

Новые конфликты в эпилоге произведения требовали качественно иной авторской позиции. Изображая идейный раскол между героями, писатель не стремился занять сторону одного или другого из них, почти не обнаруживал свое отношение к происходящему. Оба они были ему дороги. В судьбе того и другого восторжествовала «непринужденная» философия «Войны и мира». Оба стали семейными людьми, достигли домашнего единения и счастья. Откуда же роковое непонимание между ними? Сотворенная Толстым «новая реальность», кажется, не обещала ничего подобного…

Составная часть «Войны и мира», ее эпилог уже не вполне принадлежал этому произведению. Наряду с толстовской проблематикой, тесно переплетенные с ней, тут возникли новые, мало связанные с поэтическим космосом великой книги жизненные конфликты. Назревающий между героями раскол застигал их неожиданно, приходил из другой, вполне объективной реальности. Так же внезапно, словно ниоткуда, над ними вырастала тень Пугачева (об этом в эпилоге однажды говорил Безухов).

Эта «внутренняя гроза», правда, напомнила о себе однажды и в тех эпизодах произведения, которые были посвящены войне 1812 года. «Богучаровский бунт» (подобные волнения крестьян, вызванные разными причинами, действитель-

но случались кое-где в период нашествия Наполеона) был как далекая, но быстро потухшая зарница на русском горизонте. Этот массовый «вывих сознания» Николай Ростов решительно «вправил» всего лишь одной зуботычиной. «Чувствительное» потрясение опять, как это бывало и в судьбах отдельных персонажей, возвратило «живую жизнь» на круги своя. Более того, неожиданным для себя «усмирением смуты» герой приобрел будущее счастье – «спаситель и заступник», он познакомился тогда с будущей своей женой княжной Марьей. Все устроилось как нельзя лучше.

А все-таки странное брожение среди крепостных крестьян выглядело почти необъяснимым с точки зрения естественной философии романа. Все каратаевское, «круглое» вдруг потухло на миг в этих мужиках из имения князя Андрея. Богучаровское «недоразумение», хотя и было спровоцировано французскими прокламациями, совсем не походило на те «уловки» цивилизации, что подстерегали Наташу, Андрея или Пьера. У него были домашние, русские корни. Недовольство собственным положением, внутренней отчужденностью господ, суеверные фантазии – все это прорвалось у крестьян в самых нелепых, угрожающих формах. Реальная проблематика национальной жизни вдруг напомнила о себе независимо от любой философии безгрешного бытия.

Прежде чем начать работу над «Войной и миром», Толстой задумывал роман о декабристах. Это был современный замысел. В центре его находился один из многолетних «си-

бирских изгнанников», который много лет спустя, во второй половине 1850-х годов, после объявленного царем помилования возвращался в Москву. Из этого «зерна», собственно, и выросло все грандиозное древо «Войны и мира». Писатель обратился к молодости своего героя, чтобы оттуда начать движение к его преклонным годам. Завершая свое произведение, Толстой словно приближался опять к его «отправной точке».

Однажды, в 1858 году, разочарованный духом преобразований своего времени, он написал известному литератору В. П. Боткину: «Политическая жизнь вдруг неожиданно обхватила собой всех. ‹…› А людей, которые бы просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету». В эпилоге «Войны и мира» Толстой показал героя, близкого своим идеальным представлениям. Возможно, таковым виделся ему уже и тот самый первый персонаж начатого, но так и не законченного «декабристского» романа.

Безухов – странный декабрист, не заговорщик, не политик. Он человек, всем без исключения желающий добра, каким он его себе представляет, каким он понял его в эпоху народной войны с Наполеоном. «Ведь я не говорю, – утверждал он, – что мы должны противудействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя – деятельная добродетель». Но при чем здесь вообще декабристы? Почему бы герою не удовольствоваться просто най-

денным счастьем? Чуткая Наташа однажды предлагала мужу поверить собственную правоту самой высокой у Толстого мерой – мерой Каратаева: «Как он? Одобрил бы тебя теперь?» И, уже готовый сказать: «Да», Безухов честно признавался перед собой: «Нет, не одобрил бы».

Между тем именно «каратаевские» открытия, сделанные Безуховым на исходе 1812 года, неумолимо влекли героя к попытке «освободить» общество от любых «цивилизованных» начал. Далеко не Ростов был зачинщиком конфликта в эпилоге «Войны и мира». Это Пьер, убежденный, что без него «все распадается», говорил и действовал как обладатель последней истины. Он мечтал, что «люди добра» все вместе предотвратят новую пугачевщину. Увы, подобный рецепт «исцеления по-безуховски» не обещал подлинной России ни мира, ни согласия. Слишком своевольным, расплывчатым было это добро, в одиночку найденное героем. Отражение пугачевщины, скорее, грозило обернуться ее продолжением. Религия безгрешного человечества приносила совсем не те плоды, о которых мечталось. Далекие сполохи русской революции были уже слишком хорошо различимы в новых «филантропических» мечтаниях благородного, искреннего Пьера. В отличие от большинства декабристов он думал о мирном, «полюбовном» перевороте. Но все-таки оказался – не мог не оказаться – вместе с теми, кто гордо (это повторится и дальше в революционной среде) называл свое движение «освободительным». Вот так же и сам Толстой на склоне лет,

осуждая революционеров, будет невольно им сочувствовать.

Пока же, наблюдая за своим героем как бы извне, художник только пытался различить судьбу своей мечты в реальном, грешном мире. Как ни старался он смотреть на Безухова отстраненно, даже с едва различимой улыбкой, было заметно, что сам он больше на стороне Пьера, чем на стороне его оппонента Ростова. Ведь «положительный» Безухов говорил и думал так по-толстовски! Своеобразной мерой правоты того и другого персонажа стало причудливое отражение их спора во внутреннем мире юного Николеньки Болконского.

Странный сон, увиденный мальчиком, завершал художественный рассказ эпилога. Дядя Пьер и он сам в касках, наподобие тех, что носили герои античности (Николенька увлекался греческим писателем Плутархом), войско, которое они ведут за собой, дядя Николай Ильич, грозно ставший у них на пути, князь Андрей – умерший отец, который внезапно слился с образом Пьера и заменил его собой. Проснувшийся Николенька (тут было много ребяческого) грезил о подвигах, о славе. Но больше всего – о чем-то возвышенном и прекрасном, что сделает он сам во имя всех людей. В этих мечтах о благе человечества он был заодно с Безуховым. И сон его никому не предвещал мира. Потому что «естественное» добро Безухова, потому что испытанное Николенькой «не названное, но высокое», устремляясь в подлинную жизнь со страниц «новой реальности», обещали

этой жизни поистине великие потрясения…

У истоков «Войны и мира» находилась давняя мечта ее создателя о земном блаженстве всех живущих. В определенном смысле книга Толстого и представляла собой утопическое произведение, созданное на материале национальной истории. Эта религиозно-философская основа сообщила замыслу писателя единственно возможный масштаб, направление и способы развития, определила собой главные итоги уже завершенного произведения.

Грандиозная книга о былом во многом утвердила готовый состояться в национальном мире переворот во взглядах на отеческое прошлое, по-своему отразила историческое мироощущение новой, смутной поры. Но разве лишь поэтому оказалась «Война и мир» так дорога последующим поколениям русских?

Каждый, кто прикоснулся хотя бы однажды к этой поэтической вселенной, испытал на себе ее неотразимое воздействие. Чудодейственный талант ее творца подарил нам великую радость сопереживания и любви – навсегда. Нас вечно пленяет исключительное мастерство художника, его редкое, своеобразное искусство слова. Представить нашу литературу без «Войны и мира» сегодня попросту невозможно. Это одно из центральных ее произведений, великое культурное достояние. Трудно представить без нее и русское патриотическое сознание. Кого оставит равнодушным эта земная, подлинная Россия с ее многообразными лицами, ее праздника-

ми и бедами, ее открытым сердцем и твердой решимостью защитить себя в бою? Где еще мы найдем столь живой, ощутимый, столь законченный образ давно ушедшей эпохи? И какой эпохи! У кого еще есть такая история? В какой национальной культуре найдется такая книга? Сложная, парадоксальная. А все-таки – неиссякаемо солнечная.

Александр Гулин

Часть первая

I

– Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) – je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites[7]. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur[8], садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был *грипп*, как она говорила (*грипп* был

---

[7] Ну, князь, Генуя и Лукка поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист) – я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите (*фр.*). (В дальнейшем переводы с французского не оговариваются. Здесь и далее все переводы, кроме специально оговоренных, принадлежат Л. Толстому. – *Ред.*)

[8] Я вижу, что я вас пугаю.

тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

«Si vous n'avez rien de mieux à faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. *Annette Scherer*»[9].

– Dieu, quelle virulente sortie![10] – отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.

– Avant tout dites moi, comment vous allez, chére amie?[11] Успокойте меня, – сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равноду-

---

[9] Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. *Анна Шерер*.

[10] Господи, какое горячее нападение!

[11] Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?

шие и даже насмешка.

– Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? – сказала Анна Павловна. – Вы весь вечер у меня, надеюсь?

– А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, – сказал князь. – Дочь заедет за мной и повезет меня.

– Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides[12].

– Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, – сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

– Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosiizoff? Vous savez tout[13].

– Как вам сказать? – сказал князь холодным, скучающим тоном. – Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres[14].

Князь Василий говорил всегда лениво, как актер гово-

---

[12] Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

[13] Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы всё знаете.

[14] Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли; и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.

рит роль старой пиесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.

Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.

– Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет ви-

деть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уж объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него… И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège[15]. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. – Она вдруг остановилась с улыбкою насмешки над своею горячностью.

– Я думаю, – сказал князь, улыбаясь, – что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

– Сейчас. A propos, – прибавила она, опять успокоиваясь, – нынче у меня два очень интересные человека, le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans[16], одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом l'abbé Morio[17]; вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?

– А! Я очень рад буду, – сказал князь. – Скажите, – при-

---

[15] Этот пресловутый нейтралитет Пруссии – только западня.

[16] Кстати, – виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси чрез Роганов.

[17] Аббат Морио.

бавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главною целью его посещения, – правда, что l'impératrice-mère[18] желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il paraît[19]. – Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

– Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa soeur[20], – только сказала она грустным, сухим тоном. В то время, как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d'estime[21], и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелконуть князя за то, что он дерзнул так ото-

---

[18] Вдовствующая императрица.

[19] Барон этот ничтожное существо, как кажется.

[20] Барон Функе рекомендован императрице-матери ее сестрою.

[21] Много уважения.

зваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

– Mais à propos de votre famille, – сказала она, – знаете ли, что ваша дочь, с тех пор как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle, comme le jour[22].

Князь наклонился в знак уважения и признательности.

– Я часто думаю, – продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, – я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастие жизни. За что вам судьба дала таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, – вставила она безапелляционно, приподняв брови), – таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стоите.

И она улыбнулась своею восторженною улыбкой.

– Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paterienité[23], – сказал князь.

– Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас…

---

[22] Кстати, о вашей семье… составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день.

[23] Что делать! Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви.

Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

– Что ж мне делать! – сказал он наконец. – Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли des imbéciles[24]. Ипполит по крайней мере покойный дурак, а Анатоль – беспокойный. Вот одно различие, – сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное.

– И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, – сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

– Je suis votre верный раб, et à vous seule je puis l'avouer. Мои дети – ce sont les entraves de mon existence[25]. Это мой крест. Я так себе объясняю. Que voulez vous?..[26] – Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.

Анна Павловна задумалась.

– Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? Говорят, – сказала она, – что старые девицы ont la manie des mariages[27]. Я еще не чувствую за собою

---

[24] Дурни.

[25] Я ваш… и вам одним могу признаться. Мои дети – обуза моего существования.

[26] Что делать?..

[27] Имеют манию женить.

этой слабости, но у меня есть одна petite personne, которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse[28] Болконская. – Князь Василий не отвечал, хотя с свойственною светским людям быстротой соображения и памятью показал движением головы, что он принял к соображению это сведенье.

– Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит сорок тысяч в год, – сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.

– Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père[29]. Она богата, ваша княжна?

– Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse, comme les pierres[30]. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня.

– Ecoutez, chère Annette[31], – сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. – Arrangez-moi cette affaire et je suis votre вернейший раб à tout

---

[28] Девушка… наша родственница, княжна.

[29] Вот выгода быть отцом.

[30] Бедняжка несчастлива, как камни.

[31] Послушайте, милая Аннет.

jamais (*pan* – comme mon староста m'écrit des[32] донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

– Attendez[33], – сказала Анна Павловна, соображая. – Я нынче же поговорю Lise (la femme du jeune Болконский)[34]. И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille[35].

---

[32] Устройте мне это дело, и я навсегда ваш… как мой староста мне пишет.

[33] Постойте.

[34] Лизе (жене Болконского).

[35] Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы.

II

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как la femme la plus séduisante de Pétersbourg[36], молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в *большой* свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат Морио и многие другие.

– Вы не видали еще, – или: – вы не знакомы с ma tante?[37] – говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на ma tante, и потом отходила.

Все гости совершали обряд приветствования никому не известной, никому не интересной и не нужной тетушки. Ан-

---

[36] Самая обворожительная женщина в Петербурге.

[37] Моей тетушкой?

на Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Ma tante каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее – короткость губы и полуоткрытый рот – казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый.

Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкою на руке и,

весело оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто все, что она ни делала, было partie de plaisir[38] для нее и для всех ее окружавших.

– J'ai apporté mon ouvrage[39], – сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

– Смотрите, Annette, ne me jouez pas un mauvais tour, – обратилась она к хозяйке. – Vous m'avez écrit que c'était une toute petite soirée; voyez comme je suis attifée[40].

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже грудей опоясанное широкою лентой.

– Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie[41], – отвечала Анна Павловна.

– Vous savez, mon mari m'abandonne, – продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу, – il va se faire tuer. Dites moi, pourquoi cette vilaine guerre[42], – сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен.

– Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse![43] –

---

[38] Увеселение.

[39] Я захватила работу.

[40] Не сыграйте со мной дурной шутки; вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана.

[41] Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех.

[42] Вы знаете, мой муж покидает меня. Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война.

[43] Что за милая особа, эта маленькая княгиня!

сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.

– C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade[44], – сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь

---

[44] Очень мило с вашей стороны, мосье Пьер, что вы пришли навестить бедную больную.

маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами:

– Вы не знаете аббата Морио? он очень интересный человек… – сказала она.

– Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно…

– Вы думаете?.. – сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.

– Мы после поговорим, – сказала Анна Павловна, улыбаясь.

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, то-

ропливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, – так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.

III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме ma tante, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным, худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат; в другом, молодом, – красавица княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Болконская. В третьем – Мортемар и Анна Павловна.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами, молодой человек, очевидно считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утонченное. В кружке Мортемара заговорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Бонапарта.

– Ah! voyons. Contez-nous cela, vicomte, – сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV отзывалась эта фраза, – contez-nous cela, vicomte[45].

Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

– Le vicomte a été; personnellement connu de monseigneur[46], – шепнула Анна Павловна одному. – Le vicomte est un parfait conteur[47], – проговорила она другому. – Comme on voit l'homme de la bonne compagnie[48], – сказала она третьему; и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде, посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

– Переходите сюда, chère Hélène[49], – сказала Анна Павловна красавице княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Элен улыбалась; она поднялась с тою же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с которою она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальною робой, убранною плющом и мохом, и блестя белизною плеч,

---

[45] Ах, да! Расскажите нам это, виконт… напоминающим Людовика XV.

[46] Виконт был лично знаком с герцогом.

[47] Виконт удивительный мастер рассказывать.

[48] Как сейчас виден человек хорошего общества.

[49] Милая Элен. – *Ред.*

глянцем волос и брильянтов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно-действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить действие своей красоты.

– Quelle belle personne![50] – говорил каждый, кто ее видел. Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и опустил глаза в то время, как она усаживалась перед ним и освещала и его все тою же неизменною улыбкой.

– Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire[51], сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она, улыбаясь, ждала. Во все время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, легко лежавшую на столе, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла брильянтовое ожерелье; поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатле-

---

[50] Что за красавица!

[51] Я, право, опасаюсь за свое уменье перед такой публикой.

ние, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокоивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от чайного стола.

– Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage, – проговорила она. – Voyons, à quoi pensez-vous? – обратилась она к князю Ипполиту. – Apportez-moi mon ridicule[52].

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку и, усевшись, весело оправилась.

– Теперь мне хорошо, – приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу.

Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.

Le charmant Hippolyte[53] поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицей и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной улыбкой жизни и необычайной, античной красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот – все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и

---

[52] Подождите, я возьму мою работу… Что ж вы? О чем вы думаете? Принесите мой ридикюль.

[53] Милый Ипполит. – *Ред.*

ноги всегда принимали неестественное положение.

– Ce n'est pas une histoire de revenants?[54] – сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

– Mais non, mon cher[55], – пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

– C'est que je déteste les histoires de revenants[56], – сказал князь Ипполит таким тоном, что видно было, – он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которой он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayée[57], как он сам говорил, в чулках и башмаках.

Vicomte рассказал очень мило о том ходившем тогда анекдоте, что герцог Энгиенский тайно ездил в Париж для свидания с m-lle George[58], и что там он встретился с Бонапарте, пользовавшимся тоже милостями знаменитой актрисы, и что там, встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в тот обморок, которому он был подвержен, и находился во власти герцога, которою герцог не воспользовался, но что Бонапар-

---

[54] Это не история о привидениях?

[55] Вовсе нет.

[56] Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях.

[57] Тела испуганной нимфы.

[58] Актрисой Жорж.

те впоследствии за это-то великодушие и отмстил смертью герцогу.

Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении.

– Charmant[59], – сказала Анна Павловна, оглядываясь вопросительно на маленькую княгиню.

– Charmant, – прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть рассказа мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, стал продолжать; но в это время Анна Павловна, все поглядывавшая на страшного для нее молодого человека, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом, и поспешила на помощь к опасному месту. Действительно, Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политическом равновесии, и аббат, видимо заинтересованный простодушной горячностью молодого человека, развивал перед ним свою любимую идею. Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне Павловне.

– Средство – Европейское равновесие и droit des gens[60], – говорил аббат. – Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бес-

---

[59] Прелестно.

[60] Народное право.

корыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы, – и оно спасет мир!

– Как же вы найдете такое равновесие? – начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат. Лицо итальянца вдруг изменилось и приняло оскорбительно притворно-сладкое выражение, которое, видимо, было привычно ему в разговоре с женщинами.

– Я так очарован прелестями ума и образования общества, в особенности женского, в которое я имел счастье быть принят, что не успел еще подумать о климате, – сказал он.

Не выпуская уже аббата и Пьера, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку.

В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павлов-

ны и, щурясь, оглядел все общество.

– Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince?[61] – сказала Анна Павловна.

– Le général Koutouzoff, – сказал Болконский, ударяя на последнем слоге *zoff*, как француз, – a bien voulu de moi pour aide-de-camp…[62]

– Et Lise, votre femme?[63]

– Она поедет в деревню.

– Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?

– André, – сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним, – какую историю нам рассказал виконт о m-lle Жорж и Бонапарте!

Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно-доброй и приятной улыбкой.

– Вот как!.. И ты в большом свете! – сказал он Пьеру.

– Я знал, что вы будете, – отвечал Пьер. – Я приеду к вам ужинать, – прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, ко-

---

[61] Вы собираетесь на войну, князь?

[62] Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты…

[63] А Лиза, ваша жена?

торый продолжал свой рассказ. – Можно?

– Нет, нельзя, – сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать. Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и мужчины встали, чтобы дать им дорогу.

– Вы меня извините, мой милый виконт, – сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтоб он не вставал. – Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, – сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо него.

– Очень хороша, – сказал князь Андрей.

– Очень, – сказал Пьер.

Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне.

– Образуйте мне этого медведя, – сказал он. – Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.

IV

Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу князю Василью. Пожилая дама, сидевшая прежде с ma tante, торопливо встала и догнала князя Василья в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.

– Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? – сказала она, догоняя его в передней. (Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на *о*.) – Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?

Несмотря на то что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему и, чтоб он не ушел, взяла его за руку.

– Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию, – просила она.

– Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, – отвечал князь Василий, – но мне трудно просить государя; я бы советовал вам обратиться к Румянцеву, через князя Голицына: это было бы умнее.

Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из

света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтоб увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватила за руку князя Василия.

– Послушайте, князь, – сказала она, – я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь, я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, – торопливо прибавила она. – Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Soyez le bon enfant que vous avez été[64], – говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.

– Папа, мы опоздаем, – сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.

Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и, раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора сове-

---

[64] Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде.

сти. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.

– Chère Анна Михайловна, – сказал он с своею всегдашнею фамильярностью и скукой в голосе. – Для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите; но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное: сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?

– Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас; я знала, как вы добры.

Он хотел уйти.

– Постойте, два слова. Une fois passé aux gardes…[65] – Она замялась. – Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж…

Князь Василий улыбнулся.

– Этого не обещаю. Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.

---

[65] Но когда его переведут в гвардию…

– Нет, обещайте, я не пущу вас, милый, благодетель мой.

– Папа! – опять тем же тоном повторила красавица, – мы опоздаем.

– Ну, au revoir[66], прощайте, видите…

– Так завтра вы доложите государю?

– Непременно, а Кутузову не обещаю.

– Нет, обещайте, обещайте, Basile, – сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу.

Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.

– Но как вы находите всю эту последнюю комедию du sacre de Milan?[67] – сказала Анна Павловна. – Et la nouvelle comédie des peuples de Gênes et de Lucques qui viennent présenter leurs voeux à M. Buonaparte. M. Buonaparte assis sur un trône, et exauçant les voeux des nations! Adorable! Non, mais c'est à en devenir folle! On dirait que le monde entier a perdu la tête[68].

---

[66] До свиданья.

[67] Коронации в Милане?

[68] И новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину

Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны.

– «Dieu me la donne, gare à qui la touche», – сказал он (слова Бонапарте, сказанные при возложении короны). – On dit qu'il a été très beau en prononçant ces paroles[69], – прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски: «Dio mi la dona, guai a chi la tocca».

– J'espère enfin, – продолжала Анна Павловна, – que ça a été la goutte d'eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout[70].

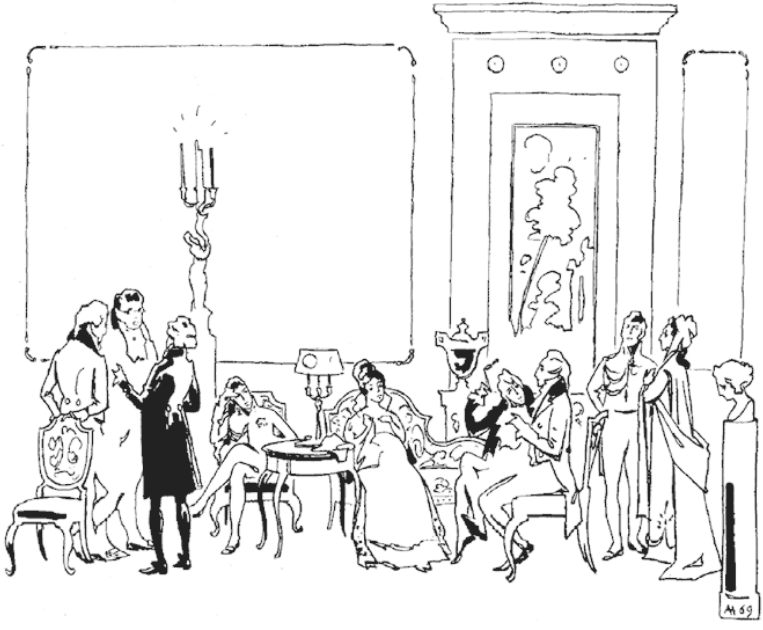
– Les souverains? Je ne parle pas de la Russie, – сказал виконт учтиво и безнадежно. – Les souverains, madame! Qu'ont ils fait pour Louis XVI, pour la reine, pour madame Elisabeth? Rien, – продолжал он одушевляясь. – Et croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des Bourbons. Les souverains? Ils envoient des ambassadeurs complimenter l'usurpateur[71].

Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О! это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову.

[69] «Бог мне дал корону. Горе тому, кто ее тронет». Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова.

[70] Надеюсь, что это была наконец та капля, которая переполнит стакан. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему.

[71] Государи? Я не говорю о России. Государи! Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы? Ничего. И, поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи? Они шлют послов приветствовать похитителя престола.



И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.

– Bâton de gueules, engrêle de gueules d'azur – maison

Condé[72], – говорил он.

Княгиня, улыбаясь, слушала.

– Ежели еще год Бонапарте останется на престоле Франции, – продолжал виконт начатый разговор, с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, – то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я разумею хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда…

Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то: разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила.

– Император Александр, – сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, – объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля, – сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом.

– Это сомнительно, – сказал князь Андрей. – Monsieur le vicomte[73] совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому.

– Сколько я слышал, – краснея, опять вмешался в разго-

---

[72] Палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями, – дом Конде.

[73] Господин виконт.

вор Пьер, – почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта.

– Это говорят бонапартисты, – сказал виконт, не глядя на Пьера. – Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

– Bonaparte l'a dit[74], – сказал князь Андрей с усмешкой. (Видно было, что виконт ему не нравился и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи.)

– «Je leur ai montré le chemin de la gloire, – сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона, – ils n'en ont pas voulu; je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont precipités en foule…» Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire[75].

– Aucun[76], – возразил виконт. – После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Si même ça a été un héros pour certaines gens, – сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, – depuis l'assassinat du duc il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre[77].

Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов виконта, как Пьер опять ворвался в разговор, и

---

[74] Это говорил Бонапарт.

[75] «Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они бросились толпой…» Не знаю, до какой степени имел он право так говорить.

[76] Никакого.

[77] Если он и был героем для некоторых людей, то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле.

Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его.

– Казнь герцога Энгиенского, – сказал Пьер, – была государственная необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.

– Dieu! mon Dieu![78] – страшным шепотом проговорила Анна Павловна.

– Comment, monsieur Pierre, vous trouvez que l'assassinat est grandeur d'âme?[79] – сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.

– Ah! Oh! – сказали разные голоса.

– Capital![80] – по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами.

Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.

– Я потому так говорю, – продолжал он с отчаянностью, – что Бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии; а один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека.

– Не хотите ли перейти к тому столу? – сказала Анна Павловна. Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь.

---

[78] Бог мой!

[79] Как, мсье Пьер, вы видите в убийстве величие души?

[80] Превосходно!

– Нет, – говорил он, все более и более одушевляясь, – Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребления, удержав все хорошее – и равенство граждан, и свободу слова и печати – и только потому приобрел власть.

– Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю, – сказал виконт, – тогда бы я назвал его великим человеком.

– Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому, что народ видел в нем великого человека. Революция была великое дело, – продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать.

– Революция и цареубийство великое дело?.. После этого… да не хотите ли перейти к тому столу? – повторила Анна Павловна.

– Contrat social[81], – с кроткой улыбкой сказал виконт.

– Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи.

– Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, – опять перебил иронический голос.

– Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эманципации от предрассудков, в равенстве граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.

---

[81] «Общественный договор» Руссо.

– Свобода и равенство, – презрительно сказал виконт, как будто решившийся наконец серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей, – все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив. Мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее.

Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету; но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.

– Mais, mon cher monsieur Pierre[82], – сказала Анна Павловна, – как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец просто человека, без суда и без вины?

– Я бы спросил, – сказал виконт, – как monsieur объясняет 18 брюмера? Разве это не обман? C'est un escamotage qui ne ressemble nullement à la manière d'agir d'un grand homme[83].

– А пленные в Африке, которых он убил? – сказала маленькая княгиня. – Это ужасно! – И она пожала плечами.

---

[82] Но, мой любезный мосье Пьер.

[83] Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека.

– C’est un roturier, vous aurez beau dire[84], – сказал князь Ипполит.

Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, какая у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо и являлось другое – детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.

– Как вы хотите, чтобы он всем отвечал вдруг? – сказал князь Андрей. – Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется.

– Да, да, разумеется, – подхватил Пьер, обрадованный выступавшею ему подмогой.

– Нельзя не сознаться, – продолжал князь Андрей, – Наполеон как человек велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но… но есть другие поступки, которые трудно оправдать.

Князь Андрей, видимо желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене.

---

[84] Выскочка, что ни говорите.

Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил:

– Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante: il faut que je vous en régale. Vous m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l'histoire[85].

И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

– В Moscou есть одна бариня, une dame. И она очень скупо. Ей нужно было иметь два valets de pied[86] за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre[87], еще большой росту. Она сказала…

Тут князь Ипполит задумался, видимо с трудом соображая.

– Она сказала… да, она сказала: «Девушка (à la femme de chambre), надень livrée и поедем со мной, за карета, faire des visites»[88].

Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчи-

---

[85] Ах, сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот; надо вас им поподчивать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота.

[86] Лакея.

[87] Девушка.

[88] Ливрею… делать визит.

ка впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.

– Она поехала. Незапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинны волоса расчесались…

Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:

– И весь свет узнал…

Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказал и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие, незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.

V

Поблагодарив Анну Павловну за ее charmante soirée[89], гости стали расходиться.

Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил трехугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неуменье войти в салон и говорить в нем выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианскою кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:

– Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер, – сказала она.

Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это.

Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи ла-

---

[89] Обворожительный вечер.

кею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.

– Идите, Annette, вы простудитесь, – говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. – C'est arrêté[90], – прибавила она тихо.

Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолем и золовкой маленькой княгини.

– Я надеюсь на вас, милый друг, – сказала Анна Павловна тоже тихо, – вы напишете к ней и скажете мне, comment le père envisagera la chose. Au revoir[91], – и она ушла из передней.

Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушепотом что-то говорить ей.

Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и рединготом и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила улыбаясь и слушала смеясь.

– Я очень рад, что не поехал к посланнику, – говорил князь Ипполит, – скука… Прекрасный вечер, не правда ли,

---

[90] Так решено.

[91] Как отец посмотрит на дело. До свидания.

прекрасный?

– Говорят, что бал будет очень хорош, – отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку. – Все красивые женщины общества будут там.

– Не все, потому что вас там не будет; не все, – сказал князь Ипполит, радостно смеясь, и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно (никто бы не мог разобрать этого) он долго не опускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину.

Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты: так он казался усталым и сонным.

– Вы готовы? – спросил он жену, обходя ее взглядом.

Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету.

– Princesse, au revoir[92], – кричал он, путаясь языком так же, как и ногами.

Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты; муж ее оправлял саблю; князь Ипполит, под предлогом прислуживания, мешал всем.

– Па-звольте, сударь, – сухо-неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему прой-

---

[92] Княгиня, до свиданья.

ти.

– Я тебя жду, Пьер, – ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея.

Форейтор тронулся, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довезти до дому.

– Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien, – сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. – Mais très bien. – Он поцеловал кончики своих пальцев. – Et tout-à-fait française[93].

Ипполит, фыркнув, засмеялся.

– Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent, – продолжал виконт. – Je plains le pauvre mari, ce petit officier qui se donne des airs de prince régnant[94].

Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:

– Et vous disiez, que les dames russes ne valaient pas les dames françaises. Il faut savoir s'y prendre[95].

Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были За-

---

[93] Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила! Очень мила. И совершенная француженка.

[94] А знаете ли, вы ужасный с вашим невинным видом. Я жалею бедного мужа, этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу.

[95] А вы говорили, что русские дамы не стоят французских. Надо уметь взяться.

писки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать ее из середины.

– Что ты сделал с mademoiselle Шерер? Она теперь совсем заболеет, – сказал, входя в кабинет, князь Андрей и потирая маленькие белые ручки.

Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой.

– Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело… По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать… Но только не политическим равновесием.

Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами.

– Нельзя, mon cher[96], везде все говорить, что только думаешь. Ну, что ж, ты решился наконец на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? – спросил князь Андрей после минутного молчания.

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.

– Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

– Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петер-

---

[96] Мой милый.

бург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помога». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.

– Но он масон должен быть, – сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере.

– Все это бредни, – остановил его опять князь Андрей, – поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?..

– Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире… это нехорошо.

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей.

– Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, – сказал он.

– Это-то и было бы прекрасно, – сказал Пьер.

Князь Андрей усмехнулся.

– Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет…

– Ну, для чего вы идете на войну? – спросил Пьер.

– Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того я иду… – Он

остановился. – Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне!

VI

В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.

– Отчего, я часто думаю, – заговорила она, как всегда, по-французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, – отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, messieurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер!

– Я и с мужем вашим все спорю; не понимаю, зачем он хочет идти на войну, – сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.

Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.

– Ах, вот я то же говорю! – сказала она. – Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьей. Я ему все говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как од-

на дама спрашивает: «C'est ça le fameux prince André?» Ma parole d'honneur![97] – Она засмеялась. – Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?

Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.

– Когда вы едете? – спросил он.

– Ah! ne me parlez pas de ce départ, ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler[98], – заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. – Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения… И потом, ты знаешь, André? – Она значительно мигнула мужу. – J'ai peur, j'ai peur![99] – прошептала она, содрогаясь спиною.

Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; однако он с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:

– Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, – сказал он.

– Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из-

---

[97] «Это известный князь Андрей?» Честное слово!

[98] Ах! Не говорите мне про этот отъезд, не говорите. Я не хочу про это слышать.

[99] Мне страшно! Мне страшно!

за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.

– С отцом и сестрой, не забудь, – тихо сказал князь Андрей.

– Все равно одна, без *моих* друзей… И хочет, чтобы я не боялась.

Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выраженье. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.

– Все-таки я не понял, de quoi vous avez peur[100], – медленно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.

Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.

– Non, André, je dis que vous avez tellement, tellement changé…[101]

– Твой доктор велит тебе раньше ложиться, – сказал князь Андрей. – Ты бы шла спать.

Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.

Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумал.

---

[100] Чего ты боишься.

[101] Нет, Андрей, ты так переменился, так переменился…

– Что мне за дело, что тут мсье Пьер, – вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. – Я тебе давно хотела сказать, André: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?

– Lise! – только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:

– Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад?

– Lise, я прошу вас перестать, – сказал князь Андрей еще выразительнее.

Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.

– Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что я вас уверяю, я сам испытал… отчего… потому что… Нет, извините, чужой тут лишний… Нет, успокойтесь… Прощайте…

Князь Андрей остановил его за руку.

– Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.

– Нет, он только о себе думает, – проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.

– Lise, – сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту ступень, которая показывает, что терпение истощено.

Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.

– Mon Dieu, mon Dieu![102] – проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.

– Bonsoir, Lise[103], – сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою ручкой.

– Пойдем ужинать, – сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.

Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выраже-

---

[102] Боже мой, Боже мой!

[103] Прощай, Лиза.

нием нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:

– Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным… А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что!..

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.

– Моя жена, – продолжал князь Андрей, – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который, развалившись, сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо все дрожало нервиче-

ским оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты раздражения.

– Ты не понимаешь, отчего я это говорю, – продолжал он. – Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, – сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. – Ты говоришь, Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, – и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной – и, как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И все, что есть в тебе надежд и сил, все только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis très aimable et très caustique[104], – продолжал князь Андрей, – и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины… Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguées[105] и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем – вот женщины, когда они показываются так,

---

[104] Я хороший болтун.

[105] Эти порядочные женщины.

как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, – кончил князь Андрей.

– Мне смешно, – сказал Пьер, – что *вы себя, себя* считаете неспособным, свою жизнь – испорченною жизнью. У вас все, все впереди. И вы…

Он не сказал, *что вы*, но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как много ждет от него в будущем.

«Как он может это говорить!» – думал Пьер. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием – силы воли. Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он видел не недостаток, а силу.

В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтоб они ехали.

– Je suis un homme fini[106], – сказал князь Андрей. – Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, – сказал он, помолчав

---

[106] Я конченый человек.

и улыбнувшись своим утешительным мыслям. Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.

– А обо мне что говорить? – сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. – Что я такое? Je suis un bâtard![107] – И он вдруг багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это. – Sans nom, sans fortune…[108] И что ж, право… – Но он не сказал, *что право*. – Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.

Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства.

– Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь; это все равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи, и гусарство, и все…

– Que voulez-vous, mon cher, – сказал Пьер, пожимая плечами, – les femmes, mon cher, les femmes![109]

– Не понимаю, – отвечал Андрей. – Les femmes comme il faut, это другое дело; но les femmes Курагина, les femmes et

---

[107] Незаконный сын!

[108] Без имени, без состояния…

[109] Что делать, женщины, мой друг, женщины!

le vin[110], не понимаю!

Пьер жил у князя Василия Курагина и участвовал в разгульной жизни его сына Анатоля, того самого, которого для исправления собирались женить на сестре князя Андрея.

– Знаете что! – сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, – серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

– Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?

– Честное слово!

Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Дорогой Пьер вспомнил, что у Анатоля Курагина нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество, после которого обыкновенно шла попойка, кончавшаяся одним из любимых увеселений Пьера.

«Хорошо бы было поехать к Курагину», – подумал он. Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.

Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бес-

---

[110] Порядочные женщины… женщины Курагина, женщины и вино.

характерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова – такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и предположения, часто приходили к Пьеру. Он поехал к Курагину.

Подъехав к крыльцу большого дома у конногвардейских казарм, в которых жил Анатоль, он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В передней никого не было; валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний говор и крик.

Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где стояли остатки ужина и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал тайком недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышались возня, хохот, крики знакомых голосов и рев медведя. Человек восемь молодых людей толпились озабоченно около открытого окна. Трое возились с молодым медведем, которого один таскал на цепи, пугая им другого.

– Держу за Стивенса сто! – кричал один.

– Смотри не поддерживать! – кричал другой.

– Я за Долохова! – кричал третий. – Разними, Курагин.

– Ну, бросьте Мишку, тут пари.

– Одним духом, иначе проиграно, – кричал четвертый.

– Яков, давай бутылку, Яков! – кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. – Стойте, господа. Вот он, Петруша, милый друг, – обратился он к Пьеру.

Другой голос невысокого человека, с ясными голубыми глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением, закричал от окна:

– Иди сюда – разойми пари! – Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретер, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя.

– Ничего не понимаю. В чем дело? – спросил он.

– Стойте, он не пьян. Дай бутылку, – сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.

– Прежде всего пей.

Пьер стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рому, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.

– Ну, пей же всю, – сказал Анатоль, подавая последний

стакан Пьеру, – а то не пущу!

– Нет, не хочу, – сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.

Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.

Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В средине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей. И, несмотря на то что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин, и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.

Бутылка рома была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо то-

ропившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.

Анатоль с своим победительным видом подошел к окну. Ему хотелось сломать что-нибудь. Он оттолкнул лакеев и потянул раму, но рама не сдавалась. Он разбил стекло.

– Ну-ка ты, силач, – обратился он к Пьеру.

Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском где сломал, где выворотил дубовую раму.

– Всю вон, а то подумают, что я держусь, – сказал Долохов.

– Англичанин хвастает… а?.. хорошо?.. – говорил Анатоль.

– Хорошо, – сказал Пьер, глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари.

Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на окно.

– Слушать! – крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали.

– Я держу пари (он говорил по-французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? – прибавил он, обращаясь к англичанину.

– Нет, пятьдесят, – сказал англичанин.

– Хорошо, на пятьдесят империалов, – что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ

стены за окном), и не держась ни за что… Так?..

– Очень хорошо, – сказал англичанин.

Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по-английски повторять ему условия пари.

– Постой! – закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. – Постой, Курагин; слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. Понимаете?

Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина и, несмотря на то что тот, кивая, давал знать, что он все понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по-английски. Молодой худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.

– Ууу! – проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.

– Смирно! – закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.

Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов осторожно и тихо полез в окно. Спустив ноги и распершись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, опустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в

белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Один из присутствующих, постарше других, с испуганным и сердитым лицом, вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.

– Господа, это глупости; он убьется до смерти, – сказал этот более благоразумный человек.

Анатоль остановил его:

– Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?.. Что тогда?.. А?..

Долохов обернулся, поправляясь и опять распершись руками.

– Ежели кто ко мне еще будет соваться, – сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, – я того сейчас спущу вот сюда. Ну!..

Сказав «ну!», он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Тот, который останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз ру-

ки: Долохов сидел все в том же положении, только голова загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с бутылкой поднималась все выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка видимо опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» – подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, рука и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не откроет их. Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.

– Пуста!

Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.

– Отлично! Молодцом! Вот так пари! Черт вас возьми совсем! – кричали с разных сторон.

Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил на окно.

– Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, – вдруг крикнул он. – И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю… вели дать.

– Пускай, пускай! – сказал Долохов, улыбаясь.

– Что ты, с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, – заговорили с разных сторон.

– Я выпью, давай бутылку рому! – закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.

Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.

– Нет, его так не уломаешь ни за что, – говорил Анатоль, – постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к***.

– Едем, – закричал Пьер, – едем!.. И Мишку с собой берем…

И он ухватил медведя и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.

VII

Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас же переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10-го августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

У Ростовых были именинницы Натальи – мать и меньшая дочь. С утра не переставая подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.

Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

– Очень, очень вам благодарен, ma chère или mon cher[111] (ma chère или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его стоявшим людям), за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère. – Эти слова с одинаковым выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми ко-

[111] Милая или милый.

роткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:

– Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб все было хорошо. Так, так, – говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. – Главное – сервировка. То-то… – И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.

– Марья Львовна Карагина с дочерью! – басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной. Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.

– Замучили меня эти визиты, – сказала она. – Ну, уж ее

последнюю приму. Чопорна очень. Проси, – сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «Ну, уж добивайте».

Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицей улыбающейся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.

– Chère comtesse, il y a si longtemps… elle a été alitée la pauvre enfant… au bal des Razoumowsky… et la comtesse Apraksine… j'ai été si heureuse…[112] – послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и передвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmée; la santé de maman… et la comtesse Apraksine»[113], – и опять, зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени – о болезни известного богача и красавца екатерининского времени старого графа Безухова и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.

– Я очень жалею бедного графа, – проговорила гостья, – здоровье его и так плохо, а теперь это огорченье от сына. Это его убьет!

– Что такое? – спросила графиня, как будто не зная, о чем

---

[112] Уж так давно… Графиня… Больна была бедняжка… на бале Разумовских… графиня Апраксина… я так была рада…

[113] Очень, очень рада… здоровье мамы… графиня Апраксина.

говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухова.

– Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, – продолжала гостья, – этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.

– Скажите! – сказала графиня.

– Он дурно выбирал свои знакомства, – вмешалась княгиня Анна Михайловна. – Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатоля Курагина – того отец как-то замял. Но выслали-таки из Петербурга.

– Да что, бишь, они сделали? – спросила графиня.

– Это совершенные разбойники, особенно Долохов, – говорила гостья. – Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить: они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина со спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.

– Хороша, ma chère, фигура квартального, – закричал граф, помирая со смеху.

– Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?

Но дамы невольно смеялись и сами.

– Насилу спасли этого несчастного, – продолжала гостья. – И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! – прибавила она. – А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

– Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? – спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. – Ведь у него только незаконные дети. Кажется… и Пьер незаконный.

Гостья махнула рукой.

– У него их двадцать незаконных, я думаю.

Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

– Вот в чем дело, – сказала она значительно и тоже полушепотом. – Репутация графа Кирилла Владимировича известна… Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.

– Как старик был хорош, – сказала графиня, – еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

– Теперь очень переменился, – сказала Анна Михайловна. – Так я хотела сказать, – продолжала она, – по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал госуда-

рю… так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, – прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

– Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, – сказала гостья.

– Да, но, entre nous[114], – сказала княгиня, – это предлог, он приехал собственно к графу Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох.

– Однако, ma chère, это славная штука, – сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням: – Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие.

– Так, пожалуйста же, обедать к нам, – сказал он.

---

[114] Между нами.

VIII

Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг бежавшей девочки.

– А, вот она! – смеясь, закричал он. – Именинница! Ma chère именинница!

– Ma chère, il y a un temps pour tout[115], – сказала графиня, притворяясь строгою. – Ты ее все балуешь, Elie, – прибавила она мужу.

– Bonjour, ma chère, je vous félicite, – сказала гостья. –

---

[115] Милая, на все есть время.

Quelle délicieuse enfant![116] – прибавила она, обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки.

– Видите?.. Кукла… Мими… Видите.

И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.

– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, – обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.

Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, со-

---

[116] Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас. Какое прелестное дитя!

чла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.

Между тем все это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша – меньшой сын, – все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine[117].

Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.

Два молодых человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица. Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность

---

[117] Графине Апраксиной.

и восторженность. Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими, куклу, он знал еще молодою девицей с не испорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарилась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.

– Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? – сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.

– Да, поди, поди, вели приготовить, – сказала она, улыбаясь.

Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

IX

Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже как большая) и гостьи-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густой черною косой, два раза обвивавшею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию cousin с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим cousin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.

– Да, ma chère, – сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. – Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него;

бросает и университет и меня, старика: идет в военную службу, ma chère. А уж ему место в архиве было готово, и все. Вот дружба-то? – сказал граф вопросительно.

– Да ведь война, говорят, объявлена, – сказала гостья.

– Давно говорят, – сказал граф. – Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chère, вот дружба-то! – повторил он. – Он идет в гусары.

Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

– Совсем не из дружбы, – отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него наклепа. – Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на кузину и на гостью-барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.

– Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? – сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

– Я уж вам говорил, папенька, – сказал сын, – что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, – говорил он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью-барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью нату-

ру.

– Ну, ну, хорошо! – сказал старый граф, – все горячится. Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, – прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.

Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:

– Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, – сказала она, нежно улыбаясь ему.

Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающейся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно-озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.

– Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками! – сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. – Cousinage dangereux voisinage[118], – прибавила она.

– Да, – сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением,

---

[118] Беда – двоюродные братцы и сестрицы.

исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. – Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек и для мальчиков.

– Все от воспитания зависит, – сказала гостья.

– Да, ваша правда, – продолжала графиня. – До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, – говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. – Я знаю, что я всегда буду первою confidente[119] моих дочерей и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то все не так, как эти петербургские господа.

– Да, славные, славные ребята, – подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что все находил славным. – Вот подите, захотел в гусары! Да вот, что вы хотите, ma chère!

– Какое милое существо ваша меньшая, – сказала гостья. – Порох!

– Да, порох, – сказал граф. – В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

– Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту

---

[119] Советницей.

пору.

– О, нет, какой рано! – сказал граф. – Как же наши матери выходили в двенадцать-тринадцать лет замуж?

– Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? – сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала: – Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей… Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела, они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее; но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

– Да, меня совсем иначе воспитывали, – сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.

Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

– Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, – сказала гостья.

– Что греха таить, ma chère! Графинюшка мудрила с Верой, – сказал граф. – Ну, да что ж! Все-таки славная вышла, – прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.

Гости встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.

– Что за манера! Уж сидели, сидели! – сказала графиня, проводя гостей.

X

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека. Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.

Борис остановился посереди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала.

– Пускай ищет, – сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что-то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой-невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что-то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.

– Соня! Что с тобой? Можно ли это? – сказал Николай, подбегая к ней.

– Ничего, ничего, оставьте меня! – Соня зарыдала.

– Нет, я знаю что.

– Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.

– Соооня! одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из-за фантазии? – говорил Николай, взяв ее за руку.

Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.

Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими глазами смотрела из своей засады. «Что теперь будет?» – думала она.

– Соня! Мне весь мир не нужен! Ты одна для меня все, – говорил Николай. – Я докажу тебе.

– Я не люблю, когда ты так говоришь.

– Ну, не буду, ну прости, Соня! – Он притянул ее к себе и поцеловал.

«Ах, как хорошо!» – подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.

– Борис, подите сюда, – сказала она с значительным и хитрым видом. – Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, – сказала она и провела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.

– Какая же это *одна вещь*? – спросил он.

Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.

– Поцелуйте куклу, – сказала она.

Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.

– Не хотите? Ну, так подите сюда, – сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. – Ближе, ближе! – шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

– А меня хотите поцеловать? – прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.

Борис покраснел.

– Какая вы смешная! – проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи, и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.

– Наташа, – сказал он, – вы знаете, что я люблю вас, но…

– Вы влюблены в меня? – перебила его Наташа.

– Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас… Еще четыре года… Тогда я буду просить вашей руки.

Наташа подумала.

– Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестна-

дцать… – сказала она, считая по тоненьким пальчикам. – Хорошо! Так кончено?

И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.

– Кончено! – сказал Борис.

– Навсегда? – сказала девочка. – До самой смерти?

И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.

XI

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

– С тобой я буду совершенно откровенна, – сказала Анна Михайловна. – Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.

– Вера, – сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно нелюбимой. – Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или…

Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо не чувствуя ни малейшего оскорбления.

– Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, – сказала она и пошла в свою комнату. Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презритель-

но улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.

Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.

– Сколько раз я вас просила, – сказала она, – не брать моих вещей, у вас есть своя комната. Она взяла от Николая чернильницу.

– Сейчас, сейчас, – сказал он, макая перо.

– Вы все умеете делать не вовремя, – сказала Вера. – То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.

Несмотря на то или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.

– И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, – все одни глупости.

– Ну что тебе за дело, Вера? – тихоньким голоском, заступнически проговорила Наташа.

Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.

– Очень глупо, – сказала Вера, – мне совестно за вас. Что

за секреты?..

– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала Наташа, разгорячась.

– Я думаю, не трогаете, – сказала Вера, – потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.

– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, – сказал Борис. – Я не могу жаловаться, – сказал он.

– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово *дипломат* было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, – сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. – За что она ко мне пристает?

– Ты этого никогда не поймешь, – сказала она, обращаясь к Вере, – потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие – делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь, – проговорила она скоро.

– Да уж я, верно, не стану перед гостями бегать за молодым человеком…

– Ну, добилась своего, – вмешался Николай, – наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.

Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.

– Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, –

сказала Вера.

– Madame de Genlis! Madame de Genlis! – проговорили смеющиеся голоса из-за двери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.